

Фантастикum XXI

АЛЕКСАНДР ПОГУЛА

Фантастикum XXI

АЛЕКСАНДР ПОГУЛА

Черные искры
Ивана Петровича

АЛЕКСАНДР ПОТУПА

Фанта́крим XXI



МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОМЕТЕЙ»
МГПИ им. В. И. ЛЕНИНА
1990

Потупа А. С.
П64 Фантакрим—XXI. Фантастические повести.—
Москва: Прометей 1990.—160 с.
ISBN 5-704-20054-0

В авторский сборник вошла острожюэтная фантастическая повесть «Фантакрим—XXI», демонстрирующая один из весьма вероятных вариантов развития нашей цивилизации, связанный со значительным преобразованием человека и техносферы.

Повесть «Черная неделя Ивана Петровича» погружает нас в недавние времена отечественного порубежья 70—80-х годов. Глазами главного героя, наделенного необычными телепатическими и телесуггестивными способностями, читатель увидит мир своеобразно смешанной реальности и фантасмагории...

Для широкого круга читателей.

П 4702010201—208
183(02)—90 без объявл.

ББК 84Р7-4

© Составление, оформление литературно-издательского агентства «Эхо», 1990 г.
© Издательство «Прометей» МГПИ им. В. И. Ленина, 1990 г.

ФАНТАКРИМ — XXI

У одних вид пропасти вызывает
мысль о бездне, у других — о мосте.
Я принадлежу ко вторым.

В. Э. Мейерхольд

1

Небо захлебывалось розовыми бликами — отсветами чувств, переполнявших скульптурно-совершенную пару на пьедестале столь же совершенного зеленого холма, пару, чьи взгляды были прикованы к чему-то вне горизонта, запредельному и оттого наверняка невероятно прекрасному и несущему мотив победы. Мотив переполнял пространство, переполнял вопреки логике его открытости, наславлялся прозрачной и сверкающей тканью на странный игольчато-радужный город, разбросанный вокруг холма.

Скульптурная пара ожила, и взгляд Юноши, впитавший кубические парсеки космического одиночества и гордости за свой единственно верный путь, обратился к Ней — к Девушке, неповторимой и воплощающей. И Она не заставила Его раскаиваться, Она предпочла близкое и безумно красивое лицо вселенским далям и беспределностям. Их взгляды встретились, и пространство между ними завибрировало от сверхнапряжения, даже слегка заискрило. И тут заговорила Она:

— Благодаря твоему мужеству, Аль, наша планета навсегда избавлена от негодяя Кэттля и его ужасной шайки. Перед нами открывается...

— ...перед нами открывается бесконечный путь покорения Неисчерпаемости,— мелодично подхватил Юноша.— О, Лана, в том, что человек достигнет...

— ...человек достигнет безграничной власти над силами природы,— пропела Она,— достигнет самых дальних звезд, твоя заслуга, Аль. Ты, именно ты открыл волшебную дверцу к осуществлению заветной мечты, величественной и необычайной! Я люблю тебя, Аль...

— Люблю тебя, Лा... Лा... Лा...

Мелодичный голос Аля сбылся на хриплое лалаканье, и его высокий лоб стал покрываться испариной. Внезапно он, словно задыхаясь, рванул свой золотистый комбинезон. И вся картина, испытывая нарастающие вибрации и теряя цвета, начала ощутимо сжиматься, стягиваться в точку...

Тим отчаянно тер глаза. Так и есть — у двери стоит отец и смотрит на него с ехидной улыбкой. И в этой улыбочке, безобразно покровительственной и совершенно неуместной, тают последние отблески фантпрограммы — словно стены все еще отражают исчезнувшую реальность.

— Зачем ты вырядил своего Аля в этот дурацкий комбинезон? — суховато спросил отец, и улыбка стекла с его губ вслед за последними розоватыми бликами.— И девчонку до смерти, небось, запарил... Забыл, что на твоей планете установлен вечный рай? Этому Кролику лапки стоило вывернуть за детские фантаматы...

— Жалеешь, что не принял участия? — впрыскивая в голос всю доступную иронию, парировал Тим.— По-моему, Кролю и без тебя руки ломали.

Отец пожал плечами.

— Ладно, не заводись... Тебе какой-то реферат задавали. Сделал уже?

— Это про луддитов,— поморщился Тим, усаживаясь на ковре.— Чего там делать? Я заказал кассету — прокручу, потом надиктую...

— Кассета... прокручу... надиктую... — перебил его отец.— Надо еще и думать, понимаешь? Самому немного думать... Ты слышал про Общество имени Неда Лудда?

— Неолуддиты, что ли? — усмехнулся Тим.— Детские игры...

— Игры? Общество Охраны Человека — это игры? Что ты понимаешь...

— Я никогда ничего не понимаю, один ты понимаешь все,— выкрикнул Тим и вскочил с ковра.— Тебе всюду мерещатся личные враги твоего эвромата... А они просто критикуют. Имеют право!

— Безусловно, имеют,— раздраженно сказал отец.— Но они вовсе не стремятся к критике, Тим, они пытаются подавить мои работы, и не только мои... Ты по уши напичкан розовой фантастикой, где все сводится к гарантированной победе над каким-нибудь Кэттлем. А реальность — нечто совсем иное...

Тим передвинулся к окну: там, словно на старинной картине, виднелись полянка и лес, а за небольшим лесом лежало озеро — любовь Тима...

«Скучно,— думал Тим,— до чего же все это скучно. Мои развлечения раздражают его. Еще бы! Уже шестнадцать лет, пора взросльть, а я в твои годы... А ведь ты в мои годы тоже дурака валял, тоже модничал и ударялся во все стили, и в ретро-примитив тоже, как все... И между прочим, потихоньку включался в запретный тогда фантамат... Это теперь ты велик и непререкаем — о-го-го, Игорь Павлович Ясенев, шеф Эвроцентра, творец и владыка мощнейших интеллектронов. Теперь-то тебя не переговоришь...»

— Слушай, Тим,— сказал отец, поглядывая на часы,— мы непременно все с тобой обсудим. Давай вечером? А пока пойди погуляй. Сейчас сюда соберутся люди, нам нужно кое-что обсудить.

— Опять секреты?

— Не то, чтоб секреты,— усмехнулся отец,— но разговор серьезный... Кстати, подумай немного о неолуддитах. Почему, например, они прикрываются именем чулочника, жившего пару столетий назад? Не знаешь? Вот и подумай! А они вовсе не безобидны, эти ребята из ООЧ...

— А по-моему, одному тебе и болят эти несчастные неолуддиты,— ни с того ни с сего взорвался Тим.— А может, они и правы, может, ты и вправду хочешь поставить машину над человеком! Да-да, хочешь, чтобы всех нас засадили в уютные хомопарки вокруг твоих евроЭентров...

Взгляд отца потемнел, и Тим, не дожидаясь более бурной реакции, выскочил за дверь.

А ведь в чем-то он прав, думал Ясенев, удобно устраиваясь в углу на ковре и медленней, чем хотелось бы, остывая. Я отец родной своим сотрудникам и своим машинам, в какой-то мере неплохой муж, но вот на обычное человеческое отцовство меня никогда не хватало. Классическая литературно изживанная ситуация, которую осознаешь как реальность лишь тогда, когда тонешь в неком едком растворе для мечты о детях-сподвижниках, детях-продолжателях...

Когда же он отдалился? И откуда его странные симпатии к неолуддитам? Сейчас многие увлеклись их болтовней, слишком многие... Они кричат об опасности наших автоэволюционных программ, не указывают на реальные опасности, а выдувают мыльные пузыри из мнимостей. Огромные мыльные пузыри самых пугающих оттенков — лишь бы средний человек встрепенулся и стал бросать на меня, на Жана Нодье и прочих подобных нам взгляды, наполненные исподлобной тупой злостью...

Да, если разобраться, крики беотийцев — древнейший рычаг контрпрогресса, думал Ясенев. Закричать можно

все, любой шаг в будущее можно побить криками, как побивали камнями древних инаковидцев. Так били беднягу Эвальда Кроля за его фантаматы. Обычно криками, а разок — вполне натурально, и в тот раз какой-то могучий борец с интеллектуальной наркоманией сломал Кролику руку. Сломал, чтобы потом, сидя в тюрьме, выправлять у начальника лишние полчасика включения в фантамат...

А какие крики неслись в свое время по поводу всеобщей системы ИК — индивидуальных компьютеров. «Нам не нужны квартиры, думающие за нас!» «Долой компьютерный рай!» Да, долой... А теперь божьи старики и старушки, некогда в расцвете юных сил громившие все ИК-агентства подряд, не представляют себе жилища без компьютерного контроля, дышать не могут вне запрограммированной атмосферы, подремать не прилянут без доброй порции фантасинтеза.

Н-да, странная штука — история прогресса. Кусаем и даже выламываем руки, протягивающие нам будущее...

История земная полнится погромными лозунгами, буквально разрывается от них — в адрес коперниковской Вселенной и космических городов, по поводуDarвина и Эйнштейна, искусственной пищи и межзвездных сигналов. Цивилизация просто стонет от обилия тормозных колодок, визжит на всех поворотах, перегреваясь и испуская снопы опаснейших искр, и все-таки движется с нарастающей скоростью — вот в чем фокус...

Не потому ли мой Тим увлекся историей, наукой, которая обещает из каждого сотворить мудреца, а творит кого угодно — мудрецов и подонков, сильных и слабых, устремленных и отчаявшихся... Беда в том, что учиться истории надо собственными боками, реальностью бытия, которая не сводится к безоглядно смелому конструированию далеких завтра и вчера, но требует еще и чувства текущего дня, требует тончайшей дозировки трех времен в том интеллектуальном топливе, которое обеспечивает каждый наш рывок.

Как передать это представление Тиму? Как объяснить ему, что темные, но честные ребята из компании Неда Лудда — это совсем не то, что наши современные неолуддиты? Как растолковать, что борьба за кусок хлеба в окрестностях Ноттингема времен Регентства вовсе не похожа на нынешние выступления, от которых за версту разит сытым порыгиванием?

Но проблемы-то есть... Длительность очередной фазы цивилизации уже меньше сроков человеческой жизни, и жизнь с трудом выдерживает испытание на разрыв разными мирами. Человек вынужден несколько раз словно бы рождаться заново, полностью переигрывая свои образова-

тельные позиции каждые пять-семь лет. И эвроматы могут довести это напряжение до последнего предела, до биологического предела человеческого мозга, до того сверхбарьера, который потребует рывка к чему-то за рамками современного мышления, за границами того, что мы гордо именуем разумом...

И опять я сбылся на тему разговора со своими ребятами, думал Ясенев, безнадежно улыбаясь пустому пространству комнаты, и снова на неопределенное завтра сдвинут мой серьезный разговор с Тимом, так и не продуманный до конца разговор, который может никогда и не состояться...

Лес успокаивал, тропа сама влекла в глубину, и Тим перешел на шаг. Лес — друг, он защитит, он сомнется за спиной, и все неприятности растворятся в несущественно мелком прошлом, мелком по сравнению с этим лесом, которому мало дела до славы Аля и напора неолуддитов, мало дела до суety человечков, фантомных и реальных.

Черт бы побрал эту его усмешку, думал Тим с остывающей, но все еще пенящейся злостью, черт бы побрал безобразную гримасу умственного превосходства. Они всегда умнее нас уже потому, что вымахали под два метра и на три десятка лет больше проторчали на этом свете. Они, дрожа от нетерпения, ищут какие-то иные цивилизации, хотят немедленно — сегодня или завтра — вступить с ними в контакт, но не могут, совершенно не могут контактировать с нами, с цивилизацией их собственного будущего. И нечего тут тыкать моими шестнадцатью годами и всего лишь пятой ступенью адаптации. В конце концов я хочу видеть мир по-своему, чтобы мне не навязывали того завтра, которое кажется им прекрасным лишь сегодня, не желаю, чтобы меня загоняли в их взрослость, в их колею...

Озеро — мой талисман, думал Тим, спускаясь по слегка наклонному песчаному берегу. Я стал бы великим лесным богом и подарил бы талисман своему дикому племени, и люди плясали бы вокруг — настоящее племя, насытившееся после долгой и трудной охоты, реальной и кровавой и вовсе не смахивающей на фантасафари, где воображаемый охотник носится с воображаемым блейзером за воображаемым тиранозавром... Мое озеро...

Но вот оно становится отцом — «Игры?.. Это игры?..» Оно предает меня, с ужасом думал Тим, оно — талисман-предатель, не желающий ни победных плясок, ни подлинности вообще, оно — замаскированный канал всемирного фантамата, фантамата, в который превращают этот мир,

которым он стремительно становится, становится чем-то, невместимым в сознание...

— Чего ты ко мне прицепился! — вдруг закричал Тим, срываюсь в крик, как срываются с высокого обрыва.— Я не хочу становиться тобой, не хочу изобретать новый эвромат! Пусть их изобретают те, кому не хватает собственных мозгов!

Озеро-отец как-то обиженно сморщилось и стало терять лицо, превращаясь в тихое и безобидное лесное озеро, до смерти напуганное криком и криком обезличенное. Тим вздрогнул от скавшей виски тишины, от обрушившегося на него настоящего акустического вакуума.

Ерунда какая-то — с озером поругался, думал Тим, опускаясь на берег. Не хватает только броситься на колени, и, подобно древним, кулаками грозить небу, и вопить что-нибудь вроде «Усомнюсь, Господи!», и ощущать на затылке ознобные волны страха — вдруг кто-то смотрит с небес и прицеливается в тебя молнией.

Молния в спину... Похоже, это я устраиваю папе молнию, причем в самый подходящий момент. Ему так трудно, и он многое скрывает от нас с мамой: борьбу с Нодье, схватки с Большим Советом, не говоря уж о всяких неолуддитах... И конечно, ему страшно видеть, что даже я, единственный его сын, зашатался под ударами антпрогрессистской пропаганды.

И снова озеро, непослушный мой талисман, сочетается в знакомое лицо. Конечно, это диктор канала официальных новостей: «...в ближайшие дни мы станем свидетелями острой дискуссии между Эвроцентром Игоря Ясенева и Центром хомореконструкции Жана Нодье. Какой из двух программ нашей эволюции следует отдать предпочтение? Что выйдет на первый план — работы над хомо суперсапиенс или над творческими машинами? Станем ли мы усиливать интеллект индивидуально или коллективно? Откуда стартует наше будущее сверхмышление, наши гиперментальные функции — от индивида или от социоида? Наконец, какие новые, пока еще секретные, достижения продемонстрируют Большому Совету Ясенев и Нодье? Между тем, не следует забывать и о третьей точке зрения — не стоит ли временно свернуть обе программы ввиду явной опасности слишком быстрого преобразования человека? Не стоит ли подумать о некотором расширении космических исследований, в частности о более активной стратегии космического Контакта?..»

Тим вздрогнул и потер лоб. Видение стало постепенно исчезать, словно всасываясь в чуть-чуть колеблющийся экран озера.

До чего ж тебе трудно, папа, думал Тим. Я ведь знаю — ты во многом сомневаешься... Вот именно это и делает

меня твоим союзником, скорее — твоим, чем этих самых неолуддитов. Они-то уверены в своей правоте на все сто, и, может, именно она, их вроде бы очевидная и всячески рекламируемая правота, гораздо опасней твоих хитрых эвроматов...

Я увлекся историей, потому что мне необходимо понять, что такое прогресс. Действительно ли все сводится к системному усложнению и соответствующему уплотнению времени, к ускорению потока событий или тут что-то другое, более глубокое? Ты бы посмеялся над моими чрезмерными претензиями, но это вовсе не смешно, папа,— чрезмерность в шестнадцать может стать мерой в тридцать шесть. Одно я уже понял — прогресс, как его ни определяй, был бы немыслим без чрезмерных, без Бруно и Демокрита, без того первого косматого парня, который дрожащей рукой попытался сам выбить огонь. Не было бы ничего, кроме вечной и общепринятой стадной меры... И озеро-талисман пересохло бы...

Я устала, устала до одури от этих переливов, думала Анна Ясенева. Мне тревожно, мне тесно от растворенной в пространстве тревоги, от пружинной напряженности мыслей. Вот-вот что-то произойдет, чудовищная сила спустит пружину пространства, и она больно ударит по затылку, ударит нешуточно, вероятно, насмерть.

Моя новая композиция вибрирует, словно предчувствуя удар, она боится впасть в беспризорность, моя бедная светоконструкция — но она-то при чем? Не страшно ли это — голограмма, чутко и безошибочно реагирующая на мое состояние, а следовательно — воздействующая на меня, своего творца; то, чего не предвидел гениальный и несчастный Кроль, Кролик, как зовет его Игорь? Фантом вступает в игру со своим создателем, и это становится высшей точкой современного искусства. Это уже не динамическая скульптура, которой увлекались лет сто назад, и не программируемые скульптуры-роботы, и не живопись жидкими кристаллами и органическими соединениями и их автоволновыми эффектами... И даже не фантпрограммы с прямым вмешательством зрителя в сценарии, тут иное — реальный выброс своего Я, выставка чистого эмоционального состояния, способная усилить его до сумасшедших нот... Именно до сумасшедших, ибо восприятие концентрата собственной психики — разве норма?

Нас заносит, вероятно, всех нас заносит с использованием прямых мозговых команд, этого самого брайнинга. А что будет, если каждый сможет включиться в Игорев эвромат? Ведь, по слабому моему разумению, такая машина

обеспечивает полную обратную связь с фантомом, а потом и его автономию, и зритель из Господа Бога, командующего парадом мерцающих кукол, превратится в их партнера, станет их отражением почти в той же степени, как и они — его... Страшно подумать, что именно так, через искусство, забавные фантаматы Кроля начнут игру против человечества и каждый из нас будет потихоньку терять себя. Кто реальней — я или полуопознанная многоцветная конденсация моих мыслей, способная действовать на меня не слабее, чем я на нее?

Впрочем, чему удивляться? Разве наши замыслы и их воплощения, наша модель будущего Я, наша модель общего будущего — разве все такое не действовало на нас во все времена? Теперь этот эффект называют, по-моему, причинной петлей — каузалупом. Умеют же все назвать и обозначить...

Но как обозначить эту растущую и распирающую тревогу? Она пульсирует в пляшущей передо мной работе, пульсирует вокруг Тима, которого рулетка поколений забросила в пустоту промеж двух необычайно творческих родителей, «лидеров двух далеких сфер познаний» — провались эти штампы официального канала. Хоть полюбопытствовал бы кто насчет цены нашего лидерства...

Я хочу выключить свое творение, очень хочу обесцветить этот пульсирующий комок встревоженного пространства, хотя бы временно изгнать его из своей мастерской, хочу и не могу — он мешает мне, он не желает становиться замороженным импульсом памяти в черном ящике фантамата, он объявляет мне войну желаний...

Тиму нужен был братик — вот что бесспорно. Нам с Игорем нужна была целая куча сорванцов, которые не дали бы нам дойти до этих проклятых лидерских позиций, до лавинообразного размножения наших идей и воплощений. Мы не дошли бы до блестящей когорты Игоревых эвроматчиков, когорты молодых и зубастых ребят, рвущихся вслед за своим пророком и кое в чем обгоняющих его, уже обгоняющих... И до моей неоглядной галереи брайнинг-фантомов тоже не дошли бы. И катались бы по полу среди мягких и теплых, брыкающихся, писающих и орущих щенят, действуя по единственному стоящей программе — программе любви...

Все шестеро участников совещания в кабинете Ясенева живописно расселись на ковре, и со стороны все это смахивало бы на веселую мужскую вечеринку, если бы, кроме легкого запаха моря и приятного пляжного ветерка, тут присутствовало собственно веселье. Игорь Павлович

сосредоточенно выводил на своем дисплее ухмыляющегося черта с вилами.

— И тебе не надоело создавать портреты профессора Нодье? — раздраженно нарушил тишину Стив Грегори.— Уж лучше попросил бы Анну...

— По-моему, ты уже злишься, Стив,— вежливо улыбнулся ему Арчи Ясумото.

Грегори вскочил на ноги.

— А по-моему, я битый час объяснял — надо немедленно запускать наши материалы, иначе Эвроцентр прикроют, бой на Совете будет проигран начисто. Супер-сап — естественное развитие живого человека, а наша машина вызывает предрассудочное отторжение. И чем она умнее, тем конкурентоопасней. Нас провалят именно этим элементарнейшим предубеждением...

— Стив, я все равно не подпишу,— совершенно равнодушно, даже не отрываясь от рисования, произнес Ясенев.

— Ты с ума сошел,— окончательно взвинтился Грегори.— Завтра утром Нодье огласит свой материал. Объективная критика, то да се — старишка Жан это умеет... И на Совете мы вылетим в трубу!

Ясенев неопределенно пожал плечами.

— В твоем варианте, Стив, мы становимся живым доказательством правоты Нодье,— сказал он.— На наше место пора прийти кому-нибудь поразумней и подальновидней. Мы становимся мастерами по борьбе с собственным будущим, великими мастерами...

— Ты говоришь страшные вещи, Игорь,— едва ли не трагическим шепотом произнес Грегори.— Я будто слышу голос старишки Жана...

— А меня преследует голос твоего отца, Стив,— ответил Ясенев.— Ведь это он предсказал возможность эволюционной войны. Мы рискуем стать ее поджигателями. Разные ветви расщепленной цивилизации начнут схлестываться, избивая друг друга нашими аргументами и кое-какими производными этих аргументов — мегатонными и гаммалучевыми. Мы рискуем захлебнуться страхом перед хомопарками...

— Любимый образ неолуддитов? — вступил в разговор Вит Крутогоров.— С каких пор?

— Не стоит цепляться к словам,— миролюбиво сказал Ясумото.— Мне кажется, я понимаю Игоря. Настал момент открытой игры, Совет требует от нас и от конкурентов предельно откровенного сопоставления программ. И вот Игорь связывает с этим угрозу эволюционной войны. Я не совсем согласен с ним, но я его понимаю.

— Ты, Арчи, прирожденный проповедник-миротворец,— перебил его Крутогоров.— Но похоже, Игорь утра-

тил веру в собственную правоту, веру, которой он заразил и нас. А куда деваться нам, зараженным?

— Вовремя утраченная вера в свою правоту, в свою исключительную правоту нередко спасала от потоков крови,— усмехнулся Хосе Фуэнтес.— Мне кажется, вера тоже предмет оптимизации, и как знать, что вредней — ее избыток или недостаток...

— Твои слова хоть наизусть учи,— снова вступил Кругогоров. — Но нам некогда заучивать тебя и некогда цитировать. Мы вот-вот попадем под ножницы планировочной селекции и вынуждены будем менять работу. Стив походитаетывает за меня перед папашей, и я отправлюсь в Лунный Монастырь — почему бы не погрузиться в спокойное созерцание космоса или собственного пупка?

— Вы не видели Тима? — с этим вопросом возникла на пороге кабинета Анна Ясенева.

— Мы очень заняты, Аннушка,— кивнул ей Игорь,— а Тим сбежал к озеру.

— Ладно, действуйте, страшные заговорщики,— слабо улыбнулась Анна.— У меня какие-то нелепые предчувствия... Пойду поищу его.

Не знаю, размышлял Тим, удастся ли мне построить теорию прогресса, но твердо знаю, что веду себя, как последняя свинья. Я нашел наилучший момент, чтобы раздразнить отца, а он постеснялся отпустить мне элементарный подзатыльник. Отец боится дать себе волю, он стиснут ответственностью за каждый свой шаг...

Люди еще не привыкли к тому, что каждому из них может выпасть жребий повести цивилизацию за собой. На таком человеке жуткая ответственность за выбор шага, а на цивилизации — за выбор человека-помощника... Нет, по-моему, не совсем так. Помощник нужен слепым, а мы вовсе не слепые, мы все видим дорогу, можем поправить идущего впереди. Или не все? Или видим нечто внушенное в качестве дороги? И поправить не всегда руки дотягиваются — так, что ли? Выходит, проще всего приплысывать на месте, изображая движение, а когда в глазах вспыхнут радужные круги от мелких притопываний, завопить, дескать, вот он, надвигающийся свет будущего! И ведь самое забавное, тут есть во что поверить — в глазах все ярче разгорается зарево, а в себя придешь, только если ноги подкосятся.

Озеро, голубой мой талисман... Вот в россыпи бликов словно сошлись в борцовской схватке отец и Нодье. И этот безобразный Нодье все время ускользает и смеется, смеется и ускользает... Но что это? На месте маленького старикишки Жана его жуткий суперсап, неотразимо

страшный не своей суперовостью, а внешней схожестью с нами. Он мгновенно гипнотизирует отца, и у того безвольно повисают руки, и вот сейчас Нодье запросто разделяется с папой...

Тыфу ты, провались оно в черную дыру! Я и впрямь чуть в озеро не бросился, и кулаки сжаты так, что кончики пальцев побелели.

Воображение когда-нибудь заставит меня валяться в психореанимации — это мама верно говорит. Добрая половина фантомов намертво застrevает в твоих мозгах, говорит она, и скоро там ни на что иное места не останется. И она опять права.

В общем, все правы, а я кругом виноват, виноват по уши и навечно...

Анна углубилась в лес, и напряжение стало понемногу спадать.

Как естественно сочетаются эти тени и солнечные блики, думала она, сочетаются, чтобы окраситься моим настроением и окрасить его. Достаточно провести в этом лесу хотя бы сутки, и впечатлений будет не меньше, чем после просмотра планетарного каталога фантскульптуры. Древние охотники с помощью этого волшебного аппарата — леса становились гениальными художниками, а главное — их фантомы из солнечных лучей, из лунных отблесков и колеблющихся древесных теней были для них реальностью, были частью их жизни. Ночной лес пугал их, наполнял страхом и отражал страх, а вот такой, дневной и радующий, дарил надежду, поддержку светлых и добрых духов.

Моя тревога — лишь след усталости, думала Анна. Я слишком долго провозилась со своими психофантомами, слишком глубоко ушла в свой внутренний мир, в его зыбкие пространства, где так много теряется и так мало, так до обидного мало отыскивается вновь...

Тим уходит за черту взрослости — нужна ли я ему со своим кудахтаньем, с чем-то вкусненьким по большим праздникам и с вечной занятостью? Разве что мелькнут в его памяти наши танцы на берегу озера, пляски дикарей, от которых они, мои мужчины, постепенно устали. И первым — Игорь...

Может, здесь он и прячется, источник моей тревоги? Игорь удаляется, как межзвездный корабль. Мы еще обмениваемся сигналами, но они идут все дольше и все сильней искаются разделяющим нас расстоянием. С тех пор, как он, краснея и заикаясь, попытался втолковать мне, что у Тима не смогут появиться братик или сестричка, с тех пор он стал удаляться, и никакие мои попытки...

Человек в симбиозе с эвроматом — мечта, жутковатая мечта Игоря, и порой мне кажется, он уже начал эксперимент, временами в нем прорывается что-то надчеловеческое, какие-то невообразимые оценки и решения... Но пока он не берет меня с собой в эту иную его жизнь, где происходит нечто, не вмещающееся в обычное сознание, где неспешно, как в колбе древнего алхимика, создается новый человек. Неспешно ли? Многие как раз убеждены в обратном — все происходит слишком быстро, и цивилизация, подобно экипажу неуправляемой капсулы, несется навстречу взрыву.

Теодор Грегори, отец Стива, назвал этот взрыв эволюционной войной — дескать, до сих пор, вплоть до экологического терроризма, люди боролись между собой, а тут возникает острыя межвидовая борьба, ведь все человечество нельзя будет одновременно превратить ни в суперсапов Нодье, ни в эвробионтов Ясенева... Одни захотят одного, другие — другого, а третьих — их много, их, пожалуй, большинство — вполне устроит древняя человеческая оболочка и начинка. А планета мала, лишь за последнее столетие мы по-настоящему осознали, насколько маленький шарик эта планета Земля. Маленький и незащищенный — ни любовью богов, ни особыми космическими законами... Разве что наш разум, но и он перегружен, и кое-кто говорит — его попросту мало, а в человеке так много противоречий...

И эта сверхидея Тэда Грегори, сверхидея, которая самого его забросила на Луну, заставила ускользнуть в сферу чистой астрофизики, эта сверхидея волнует всех, по-моему, всех, кроме Игоря Ясенева. Он многозначительно улыбается: «Мы противопоставим этим запугиваниям естественную мораль Контакта, проекцию отношений космических на отношения земные. Ближнего надо любить вовсе не за то, что он похож на тебя и в нем отражается твое величие. Любовь, основанная на подобии людей друг другу, даже на их богоподобии, не могла остановить разгул взаимных убийств и унижений. Ближний, каким бы дальним он ни казался,— это твое иное Я, иная эволюционная ветвь единого ствола, твоя же иная реализация. Нельзя любить себя в одном реально осуществленном варианте, другие варианты тебя столь же заслуживают любви».

Он становится серьезным: «Возлюбить свое отражение — не фокус. Победа души — возлюбить создание инаковыглядящее, инакомыслящее и даже инакодействующее...»

Похоже, они с Махагуптой намерены всерьез протянуть эти идеи, до которых нам всем дорастать и дорастать...

Но где же Тим?

И светотени складываются в нечто, источающее острую тревогу, более острую, чем моя композиция номер такой-то... В живую тревогу живого леса, леса, который вместе со мной ищет моего мальчика...

Атмосфера в кабинете Ясенева сгущалась.

— Мне тошно произносить это вслух,—кричал Стив Грегори,— но здесь попахивает предательством, Игорь, обыкновенным предательством!

— И мне не слишком нравится эта история,— тут же заговорил Крутогоров.— Только тебя, Стив, здорово заносит...

Радж Махагупта, который до сих пор сидел неподвижно, поднял два пальца, и все удивленно затихли. Добровольное вступление в дискуссию сверхмолчаливого Раджа лучше всего подчеркивало серьезность момента.

— Ребята,— сказал Радж,— мне тоже кажется, что наше серьезное выступление против Нодье может стать первым боевым действием между сторонниками разных эволюционных линий. А война противоречит нашим принципам.

«Вот и беднягу Раджа до длинного монолога довели,— размышлял Фуэнтес.— Вот ситуация — все все понимают, все по-своему правы... Ясно, что для Стива наше поражение было бы смертельной потерей, в некотором смысле более страшной, чем для Ясенева — у Игоря хоть семья... А Стив после истории с Никой весь в Эвроцентре, без остатка и без малейшей разрядки. Ему непременно нужно доказать, что его не сломали...»

Тишину, словно подчеркнувшую сказанное Махагуптой, нарушил тонкий зуммер вызова по индиканалу. Ясенев быстро взглянул на миниатюрный наручный экран и дал переключение на стенную телепанель.

На большом экране возник Жан Нодье и стал удивленно оглядываться.

— У тебя совещание? — спросил он.— Может, я не вовремя?

— Напротив,— усмехнулся Ясенев,— твоя удача — весь штаб в сбое...

— Ну, как ваш заговор? Продвигается?

— Разумеется! — ответил Игорь, поворачивая к экрану дисплей-планшет с изображением вооруженного черта.— Мы уже создали твое изображение, Жан, и теперь, согласно древнейшим законам магии, владеем тобой...

— Ну да, теперь кто-то из вас проткнет мой образ лихой стрелочкой, образом каменного копья,— тоже заулыбался Нодье. — Я скончаясь в жутких муках на

другом конце Земли, и никто ни о чем не догадается... Кстати, я возвращаюсь из нашего австралийского филиала.

— И как поживает твой Лямбда с его гиперкортектом? — совершенно безразличным тоном спросил Ясенев.

— У тебя славная разведка, дружище,— сразу же отреагировал Нодье.— Мой малыш в полном порядке, надеюсь, он предстанет перед Советом в своей лучшей форме. Но уверен, ты тоже приготовил нечто эффектное.

— Приготовил,— вздохнул Ясенев.— Мы тут очень старались.

— Я тоже кое-что знаю,— ухмыльнулся Нодье, делаясь особенно похожим на собственное дисплейное изображение.— Ваш эврик покажет, как сработать изящную теоретическую модель любого предложенного Советом явления. И потом вы станете демонстрировать фокусы с микроэвроматом в духе композиций Анны Ясеневой... Или я ошибся?

— Ты безошибочен, Жан,— ответил Ясенев.— Но сейчас дело не в наших с тобой детективных хохмах... Ты собираешься нас атаковать?

— Откровенно говоря, я вот что думаю, Игорь: к чему приведет наша открытая грызня? Я по-прежнему считаю, что модификация индивидуального мозга должна опережать все остальные направления. Пока мы не загнали в черепную коробку нечто более емкое, оперативное, а главное — более ответственное, пока мы не сделали все это, боюсь, цивилизации придется трястись за свое будущее. Но мне хотелось бы...

— Я тебя понял, Жан,— перебил его Ясенев.— Хочу сказать, чтобы ты знал — я не подпишу ни одного материала против твоей программы, ни одного материала для публичной склоки.

Нодье немного помолчал, прикрыв веки.

— Спасибо, Игорь,— сказал он наконец.— По-моему, нам пора вступать в настоящий контакт. Ведь наши планеты не так уж далеки друг от друга...

— Это точно, Жан. Когда-то наши предки сумели вместе слетать в космос, а времена были куда темней.

— Времена освещаются людьми, Игорь. Я хочу сказать, что у наших предков были светлые головы...

«Вот так, и, вроде бы, все сказано,— думал Хосе Фуэнтес,— и наступает идилия взаимности — почти учебный пример на тему философских упражнений Игоря и Раджа. И все слишком прекрасно, чтобы быть реальностью».

Нодье не выключал индиканал и как-то заметно маялся.

— Знаешь, Игорь, похоже, кому-то не терпится привить нас всерьез...

Ясенев улыбнулся и промолчал.

— Боюсь, чтобы не оруддиты не устроили в эти дни какую-нибудь великую пакость... Впрочем, я становлюсь стар и пугаюсь любой тени... Счастливо, ребята, наша машина пошла на посадку...

Анна не выдержала и побежала. Лес вокруг нее напрягся, стал упругим и цепким. И пляска светотеней в новом ритме стала еще тревожней.

Я хотела пойти немного быстрей и вот, надо же — побежала, пронеслось в голове у Анны, и мысли ее заметались в такт ускорившемуся мерцанию светотеней. Понимаю, что все хорошо, все к лучшему в этом лучшем из лесов... не может произойти ничего плохого... ничего плохого в тишине и уютнейшем месте Земли, где самое время цепляется за тебя хвойными лапками, умоляя не спешить... посмотреть бы со стороны на мои нелепые прыжки между деревьями... должно быть, очень смешно... сейчас деревья засмеют меня, попадают от смеха на моем пути... они окружат меня сплошным завалом, и пока я до конца не выслушаю их смех, смех обезумевших деревьев, они не выпустят меня к озеру...

— Тим! Тим! — громко закричала она.

Лес кончился внезапно, и Анна стрелой вылетела на берег озера, к едва колышущейся глади, залитой солнцем и ленивым безразличием.

Это единственное место в мире, думала Анна, чувствуя, что мысли снова обретают сомнутость, единственное место в мире, где ничего не может случиться, где так славно уповать на вечность, размышлять о судьбах цивилизаций и охапками собирать сюжеты для фанткомпозиций, охапками — как древние художники собирали хворост для очага, чтобы там, в огне, перед ним выплывали картины неземной красоты и вполне земные заботы, вроде такой, например, — где раздобыть себе ужин. Может, это и плохо, что мне незачем думать о добывании скромного ужина, нет возможности отвлечься какой-нибудь простой наущностью...

Тонкий ноющий звук заставил Анну встрепенуться.

Я вышла совсем не к тому месту, которое любит Тим, решила она. Надо немедленно разыскать его, и тогда рядом с моим мальчиком мгновенно пропадет тревога, исчезнет эта воображаемая пчела. И мы пойдем вдвоем по лесу, мы будем разглядывать пляшущие светотени и давать им имена, и они, поименованные и тем самым оживленные, будут сочетаться в ласкающие глаз образы.

Они станут одушевленными фантомами удовольствия и радости и чего-то еще, не выразимого простыми словами...

Анна вновь прислушалась к нарастающему звуку и бросилась бежать по пустынному берегу.

И еще, думал Тим, надо как следует разобраться в истории экологической войны. Неужели целые государства были способны заниматься открытым шантажом и терроризмом? Простая идея — либо вы бесплатно подносите нам все свои лучшие достижения, либо мы портим и свою и вашу окружающую среду. И задохнемся одновременно — вы вместе с вашими проектами прогрессирующющей цивилизации, а мы — со своим веселым бездельем, так мы хоть всласть пожили... И чтобы пресечь такой терроризм, нужно раскручивать настоящую горячую войну — вплоть до ядерных ударов, но это опять-таки ведет к экологической катастрофе, и вообще бесчеловечно и нелепо. А ведь выход-то нашли... И благодаря этому появилась уже иная, по-настоящему планетарная цивилизация.

Великий парадокс — объединение вроде бы всегда сопровождалось войнами, полезная для развития стыковка цивилизаций неизбежно завершалась социальной сваркой, и в ее раскаленных швах сгорали тысячи или миллионы жизней, а здесь, когда дело запахло всеобщей бойней, нашли иной путь. Если человека припрет как следует, он непременно что-нибудь отыщет... Может, и парадоксов тут нет, только мне они и мерещатся?

Но я до сих пор плохо понимаю ситуацию — что такое, например, экологически ограниченный суверенитет? Почему террористические правительства пали одно за другим после принятия программы глобальной экономической реконструкции? Потому что шантаж произрастает на почве отсталости и нормальные условия развития делают его не жизнеспособным? Или это слишком простое объяснение? Но для ответа на такие вопросы надо хорошенько представить себе предыдущий этап — свертывание гонки вооружений. Без него — о каких глобальных реконструкциях шла бы речь?

И тоже — до чего туманно видится мне этот процесс. Конечно, переориентация военной промышленности на мирные космические проекты, на планомерное преобразование биосферы — оно все так... Сейчас это называют вступлением в новую эру, и мне нужно так много еще узнать, чтобы по-своему ощутить новизну. Потому что на смену ей придет другая новизна, вернее — уже приходит, и ее наступление можно легко проморгать — тебя просто втянут в нее за руку, брыкайся — не брыкайся, втянут,

и ты окажешься как бы непричастным к ее созданию, а значит, и к поиску очередного выхода из трудностей. Вообще, впечатление таково, что наша цивилизация стала специалистом по поиску выходов из того или иного тупика. Сначала увлеченно создаются неразрешимые, казалось бы, противоречия, потом ценой диких усилий и гениальных открытий отыскивается едва ли не единственное решение... И вот теперь нечто аналогичное происходит с экспериментами отца. Потом, когда я стану взрослым, будут новые тупики и новые выходы... И что же такое история — цепочка тупиков и выходов? Космический лабиринт?

Вот сейчас неолуддиты пугают мир терроризмом эволюционным. Говорят, что всех людей с непрогрессирующим мозгом загонят в специальные хомопарки — какую-то помесь из зоопарков и старинных южноафриканских резерваций... Есть ли здесь доля правды? И в том, что угроза хомопарков — следствие программы реконструкции биосферы? И вообще, не является ли всякий остроумный выход из предыдущего тупика толчком к новым сложностям, к еще более хитрым разветвлениям лабиринта?..

Этого еще не хватало, встрепенулся Тим, похоже, мне мерещатся голоса... Точнее, мамин голос. Но это ерунда — мама возится со своей очередной композицией, и ей нет дела до реального мира. Вечером она непременно спросит меня: «Тимушка, когда же ты сделаешь свой реферат?» А в глазах ее все еще будут мерцать отсветы ее последней композиции, и в общем-то плевать ей на этих луддитов... Но тут в игру вступит папа, и мне придется держать ответ. Да, надо пошевеливаться.

Тонкий ноющий звук ворвался в надозерное пространство, проткнул его длинной выбирающей иглой. Тим рассеянно огляделся и стал стряхивать песок с одежды. Вдали над озером показалась серебристо-голубая капсула, и Тим внезапно ощутил приступ страха.

Смешно, подумал он, я, как маленький, пугаюсь обычной аэрокapsулы. Будто из нее выскочат сейчас какие-то инопланетные пришельцы с паучими ухватками. А было бы здорово...

Капсула заложила резкий вираж и рванулась к берегу. И тут события замелькали перед перепуганным Тимом, как цветные многоугольнички в обезумевшем калейдоскопе. Из кабины мгновенно выскочили трое рослых мужчин в черных облегающих комбинезонах и в таких же масках...

Это сон по мотивам старинной романтической фантастики, успел подумать Тим, дурацкий сон с похищением или даже убийством. А ведь они и вправду могут убить, они такие черные и целеустремленные...

Тиму чем-то пахучим зажали нос — он и не пискнул. Только успел услышать в последний момент быстро распльывающееся мамино: «Тим! Ти-моч-ка!..»

2

Комиссар ПСБ /планетарной службы безопасности уже битый час пытался вытянуть из Анны сколь-нибудь связные показания. Она валялась на подушках в углу гостиной ясеневского коттеджа с забинтованной левой кистью и кусочком пластиря на щеке. И самые подробные сведения, которые удалось получить Комиссару, звучали так:

— На Тима напала гигантская голубая пчела, втянула его и унесла, и нет моего Тима...

— Постарайтесь вспомнить,— упорствовал Комиссар,— на что была похожа эта пчела? Может, вы успели заметить номерной знак на борту? Давайте уточним цифры...

— Цифры предали нас всех и похитили Тима,— прорыдала Анна, и глаза ее вновь стали темнеть, наполняясь безразличием. — Три оживших черных цифры завладели моим мальчиком, понимаете?

— Отцепитесь от нее, Комиссар,— вступил Грегори.— Вы же видите...

— Вижу, что вы мешаете мне сосредоточиться,— обрезал его Комиссар и, немного смягчаясь, добавил.— Успокойтесь, пожалуйста.

— Мой покой — это единственное, что вас заботит? — с вызовом спросил Грегори.— Посмотрите на этого философа,— продолжил он, указывая пальцем на Ясенева, понуро застрявшего в проеме окна,— посмотрите! Еще час назад он не хотел подписывать разоблачающие материалы на старишку Жана. А теперь вы тянете жилы из несчастной Анны, занимаетесь черт знает чем, вместо реальных действий, простых и очевидных...

— Очевидных? — удивленно переспросил Комиссар.

— Разумеется! — выкрикнул Вит Крутогоров.— Стив сразу же попытался объяснить вам ситуацию, но вы не слишком внимательно его слушали. Нодье вышел на связь и предложил перемирие, а тем временем его люди...

— Да откуда вы все это знаете? — перебил его Комиссар.— Вы все и всегда знаете наверняка — куда идти цивилизации и что делать нашей ПСБ... С чего вы взяли, что здесь замешаны люди Жана Нодье?

— Ребята имеют в виду простую вещь, Комиссар,— тихо сказал Ясумото.— Они рассуждают по принципу заинтересованности. Хотя лично я не слишком уверен...

— Мне плевать на их рассуждения,— твердо произнес Комиссар. — Но фактов у нас кот наплакал — вот в чем я действительно уверен!

— Мне бы вашу уверенность хоть в чем-то,— вздохнул Фуэнтес.

А Радж Махагупта по традиции промолчал, промолчал, хотя внутренне он сотрясался от неприличных для философа приступов злости и отчаяния.

«До чего же далек этот мир от наших с Игорем схем,— думал Радж, прикрыв глаза.— Кто-то занес меч над нашим делом, и этот меч способен в любой момент обрушиться на голову мальчишки. И возможно, он уже снес одну талантливую женскую головку... Вот так — время философствовать, и время браться за оружие...»

— ...и, как вы видели, все наши силы брошены на поиск Тима Ясенева,— говорил с экрана человек с красным треугольником на рукаве, знаком ПСБ.— Еще раз всмотритесь в портреты мальчика,— продолжил он, и на экране замелькали многочисленные изображения Тима,— он может появиться в самом неожиданном месте... Наша служба еще раз предупреждает: ни в коем случае не предпринимайте активных действий против его сопровождающих — это опасно для мальчика и для вас. Террористы несомненно вооружены и готовы отразить нападение. Немедленно свяжитесь с нами по своему индиканалу...

— Сволочи! — убежденно сказал Тэд Нгамбе, наблюдавший за событиями на экране со своего постоянного места в баре «Счастливый шанс».

— Да, засутились треугольнички,— кивнул сосед по столику, давний его друг Славчо Миров.

— Жаль парнишку,— вздохнул третий приятель, Свен Олафссон.— Здорово этот Нодье Ясенева подцепил...

— Думаешь, он? — спросил Славчо.

— Кто ж еще? Я давно говорил, что на этих ученых смирительные рубашки натягивать пора.

— Какие сволочи! — повторил Тэд Нгамбе, поворачиваясь к экрану спиной.— Ничего святого! Попадись они мне...

— Ты кого имеешь в виду? — спросил Свен.

— Как кого! — воскликнул Нгамбе и ударил кулаком по столу. — Попадись мне этот чертообразный Нодье, я вмиг размазал бы его по стенке!

— Ты бы размазал,— добродушно ухмыляясь, пропянул Славчо. — Только я вовсе не уверен, что старикашка Жан занялся столь опасным делом...

— А по-моему, Свен прав,— произнес Нгамбе,— эти ученые на все готовы пойти ради своих автоматических игрушек...

— Вот тебя-то я как раз не понимаю,— перебил его Олафссон,— хоть убей, не понимаю, как можно быть отличным наладчиком робототехники и одновременно — противником ускоренного прогресса. Сидишь себе дома, три часа дремлешь перед экраном, потом свободен, как птица... Чего тебе не хватает?

— Роботы усыпляют нашу бдительность, вот что я скажу,— загорячился Тэд.— Они перехватили все производственные операции, они успешно планируют их и сами себя обслуживают. За три года работы наладчиком мне ни разу — ты понял, ни разу! — не пришлось лезть в схемы с инструментом в руках. Вызовы в цех — просто традиция, к моему появлению все сбои уже устраниены, и я смываюсь домой с вечно праздничным настроением. Корректировочные системы делают все за меня, а программирует их мощный самоналаивающийся компьютер — опять я не при чем. Впечатление таково, что и без моего контроля все шло бы столь же четко и гладко. А теперь роботы перехватывают и всякие там творческие функции. Вскоре лишними станут не только наладчики, но и сами ученые — вот что такое эвроматы, вот что такое программа Ясенева...

— Ну, это я не раз слышал,— усмехнулся Свен.— Ты слишком правоверный неолуддит, дружище, ты воспринял все ихние лозунги, как будто лозунги и есть реальный мир.

— Да, я убежденный неолуддит,— азартно перебил его Тэд.— И не скрываю этого. Но я неолуддит потому, что отлично знаю возможности роботов. У нас нет ни одного шанса в борьбе с ними. По сути, мы уже не способны их контролировать. Мы живем лишь с иллюзией контроля, а если управляющие компьютеры дополнятся эвроматами, мы вообще не сможем ни во что вмешиваться. Эти мозговитые железяки будут лучше нас знать, чего мы хотим и как удовлетворять любые якобы наши желания. Возможно, эти самые суперсапы Нодье еще сумеют стать партнерами эвроматов, но только не мы. И мне кажется, Свен, именно тебе следовало бы стать активистом и призывать к ограничению эволюции роботов... Потому что ты и сейчас в ауте!

— Положим, обидеть меня ты не сумеешь,— спокойно ответил Свен, однако взгляд его потемнел.— Я действительно до сих пор не выбрал себе дело по душе и боюсь, что мне нелегко будет влиться в этот мир. Так уж вышло... Мне не нравятся все эти попытки вылезть из собственной шкуры, чтобы мгновенно поумнеть. Умнеть надо посте-

пенно, без понуканий... Но я вот думаю — а как бы мы кормились, во что бы одевались, о чем пели бы свои песни, если бы не роботы? Мы все — десять миллиардов...

— Ты клубок противоречий, Свен,— наконец-то улыбнулся Тэд.— То ты предлагаешь натянуту на ученых смириительные рубашки, то говоришь точь-в-точью, как этот официальный канал. И разве можно ускорять прогресс, похищая мальчишек?

— А я все-таки не уверен, что тут виноват Нодье,— сказал Славчо.— Для старикашки Жана это слишком рискованно.

— Кто же еще мог устроить такую пакость? — спросил Тэд.

— А я вот думаю, не выгодно ли это твоим неолуддитам, а? — все так же добродушно ухмыляясь, заявил Славчо.— Я бы на их месте...

— Ты что, совсем сдурел? — выкрикнул Нгамбе, вскачивая и хватая Мирова за рубашку.— Да я тебе голову оторву!

— Ребята, успокойтесь,— вступил Свен и легким захватом отвел руку Тэда.— Глядя на тебя, хочется податься в суперсапы. Говорят, у них усилены контрольно-корректируочные функции мозга.

— Так какого дьявола этот болтун валит вину на неолуддитов,— заворчал Нгамбе, усаживаясь на место.— Мы не занимаемся террором. То, что сказал Славчо, невообразимая чушь!

— Я вправе говорить все, что мне вздумается, понял? — с обидой, хотя и довольно флегматично произнес Миров.— В компании наладчика и бездельника слова нельзя вымолвить...

— Ладно, не сердись,— совсем успокаиваясь, начал Тэд.— Завтра я отвезу вас обоих в одно уютное местечко и покажу, чем на самом деле занимаются эти страшные неолуддиты. А когда разоблачат старикашку Жана, ты, Славчо, будешь угощать нас целую неделю. Согласен?

— По рукам,— буркнул Славчо.— Но если прав окажусь я, тебе не сдобровать. Ты будешь ежедневно ставить нам бочку стима...

— Идет,— заулыбался Тэд.— Считай, что ты проиграл!

Первое ощущение — темная тягучая пустота, оглушающе бессмысленная, лишающая даже надежды на самоотождествление. В этой пустоте медленно стало вырисовываться нечто временеобразное, внутренне определяющее ход событий, точнее — лишь слабо подталкивающее к определению.

Потом как-то сразу сдвинулись мировые часы, разделяя прошлое и настоящее, и в прошлом возникло лесное озеро в солнечных бликах, пронзительный звук, превратившийся в капсулу, в распахнутую пасть кабины, в три черных фигуры, в одуряющий запах, мгновенно поглотивший озеро, солнце и совсем уже близкий мамин крик: «Тим! Ти-моч-ка!..»

Говорят, перед смертью многие слышат мамин голос, подумал Тим и очень удивился своей способности думать. Если я могу что-то вспоминать и размышлять об этом, я жив. А раз так, надо разобраться — где я, как я сюда попал? И на чем я лежу? Нечто вязкое и мягкое, руки не оторвать, не на что опереться — ни прыгнуть, ни вскочить...

Тим заставил себя обогнуть странное помещение по слабо выраженному периметру и убедился, что нет здесь даже намека на окна, дверь или какой-либо иной выход. Тим закричал, но крик его тут же сглотнули стены, судя по всему, столь же вязкие и мягкие, как и пол.

В такой уютной норке можно запросто сойти с ума, думал он,— это прекрасная могила для заживо похороненных, так делали в старину, замуровывая жертву в стену.

Тим на момент представил себе, как эта мягкая нора схлопывается, облегает его, выдавливая отсюда воздух, потом становится комковатой и рассыпчатой, забивает уши, глаза, нос и сквозь губы, разжатые в поисках последнего глотка воздуха, проникает в горло и душит, душит, душит...

И он снова закричал, выжал из себя невероятной силы вопль, но, может быть, эти стены питались человеческими криками, добрели и пухли от их обилия, делаясь еще более мягкими и вязко-лоснящимися...

Меня проглотил огромный случайно оживший динозавр, мелькнуло у Тима, сейчас сюда брызнет струя отвратительного желудочного сока, и меня будут долго и с удовольствием переваривать.

И сознание снова стало ускользать от Тима, предательски покидая его тело, разметавшееся в темной и оглушительно бессмысленной пустоте.

Капсула ПСБ шла над лесом в сторону Эвроцентра. «Ничего более нелепого и вообразить нельзя,— думал Комиссар, прикрыв глаза и пытаясь отвлечься от монолога своего добровольного помощника Стива Грегори.— Такое дело и как раз тогда, когда я решил подать рапорт о годичном отпуске. Я до смерти устал от всей этой кутерьмы. Мир меняется слишком быстро, и слишком многое из того, чему меня учили в молодости, никому теперь не

нужно. И закон стал гибким, подвижным, каким-то зыбким, что ли... Ежегодные компьютерные корректировки сбивают с толку. Оно вроде и правильно, но таким, как я, вовсе не легчает от такой правильности. Все очень уж быстро умнеют, и я перестаю порой понимать свою роль в процветающем царствии умников. И еще этот Грегори без устали учит меня жить...»

— ...и вы после года тщательного расследования поднесете как великое открытие то, что очевидно всякому нормальному человеку в первые минуты после преступления,— продолжал Грегори свой монолог.— Ну скажите, кому выгодно вывести из игры Ясенева?

— Мне! — с вызывающей улыбкой сказал Комиссар.

— Вам! — поразился Грегори.— Вы что, шутите?

— Да-да,— бодро подтвердил Комиссар,— именно мне! Вообразите, Стив, что мне хочется вывести из игры вашего шефа, а заодно и Нодье. Допустите на момент, что я не желаю, чтобы ваш дурацкий эвромат со временем заместил живых сыщиков, а суперсапы мне тоже не по душе — почему мои внуки должны улучшать свой мозг и потом стыдиться своего деда, вспоминать о нем, как о добродушной говорящей обезьяне?

— Самое время для шуток...— недовольно пробурчал Грегори.

— Я понимаю: время шутить, и время глотать слезы...— снова улыбнулся Комиссар.— Но дело в том, Стив, что шутки и плач здорово перемешаны в нашем мире. Не теряйте чувства юмора...

Тихий зуммер индикатора прервал разговор. На наручном экране Комиссара появилось лицо Президента Большого Совета.

— Я же просил держать меня в курсе,— сказал Президент.— Где вы?

— Летим в Эвроцентр,— ответил Комиссар.— Тут один из людей Ясенева хочет показать мне материалы, которых якобы боялся Нодье...

— Не знаю, чего там боялся старина Жан,— резко перебил его Президент,— но теперь все боятся его, это уж точно. Многие убеждены, что это его работа — его людей или сверхлюдей... В общем, по текущей координации общественного мнения, около 80 % просигналивших — против него... Со времен дела Кrolя у нас не было столь напряженного положения.

«Понятно,— подумал Комиссар.— Издержки нынешней сверхдемократии — каждый из миллиона случайно выбранных дилетантов передает в Центр общественного мнения едва ли не первое, что приходит в голову... Счастье еще, что это скопище самодеятельных детективов не выносит приговоры...»

— Все так,— сказал Комиссар,— но вспомните, с каких пор мы не сталкивались с похищениями. И еще — я очень хорошо знаю, чем завершилось дело Кроля...

— Вы намекаете, что против Нодье развернута провокация,— раздраженно спросил Президент.— У вас факты или одни догадки?

— Догадки против догадок,— спокойно ответил Комиссар.— Представьте, что Ясенев или кто-то из его окружения решили свести счеты с Нодье. Они прячут Тима в уютное место, становятся в позу обиженных, и Совет...

И тут произошло нечто в высшей степени неожиданное — Грегори бросился на Комиссара, схватил за куртку и рванул на себя. Комиссар качнулся, но в тот же миг его правая рука, странно изогнувшись, слегка хлопнула Стива пониже уха. Грегори вздрогнул и сполз с сидения.

— Простите,— сказал Комиссар,— тут мой попутчик пытался подсказать мне пару фактов в пользу моей последней версии...

— Как бы ни вели себя ваши попутчики,— усмехнулся Президент,— мальчишку надо немедленно найти. Любой ценой!

«Знаю я эту любую цену,— подумал Комиссар,— она любая, пока дело не сделано, а потом всегда оказывается чрезмерной, почти всегда — чрезмерной...»

Тим выпал из темноты мгновенно, выпал в яркое пространство огромной комнаты. Его вязкое и звуконепроницаемое логово оказалось самой обыкновенной нишней, и когда подвижная перегородка отъехала, Тима затопил поток света. Он протер глаза, и все — разговор с отцом, озеро, похищение — как-то сразу уложилось в свой естественный ряд, образовав четкий и надежный каркас недавнего прошлого. В дальнем углу комнаты Тим заметил высокого приветливо улыбающегося человека.

— Как ты себя чувствуешь, парень? — спросил человек, раскачиваясь с носков на пятки.— Давай знакомиться. Я твой спаситель.

— Это вы меня утащили?

— Утащил? — неподдельно удивился человек, делая несколько шагов в сторону Тима.— Не утащил, а спас, и ты всю жизнь будешь благодарить меня за мои добровольные хлопоты. И не ты один...

— Немедленно отпустите меня,— повысил голос Тим, скатываясь с вязкой обивки на долгожданный твердый пол и с огромным удовольствием становясь на ноги.— Вы похититель, таких преступников было много в прошлом веке. Они крали детей и требовали миллион выкупа у их родителей...

— У твоих родителей нет миллиона,— перебил его человек.— Да и кому теперь нужен этот миллион? Теперь иные ценности, малыш...

Тим кусал губы и готов был броситься в драку. «Надо сдержаться,— думал он,— непременно сдержаться, иначе я никогда не выйду отсюда, меня запросто удавят в этой вязкой камере...»

— По-моему, ты все уже понял, дружок,— продолжал человек, даже не пытаясь отвести глаза от раскаленного взгляда Тима.— И не пытайся испепелить меня — я не боюсь ни тебя, ни всей ПСБ...

— Сейчас преступления раскрывают мгновенно,— не слишком уверенно сказал Тим.

— Но мы добиваемся своего еще мгновенней! В этом все дело. И вот тебе первый дружеский урок — никогда не пользуйся чужими бирочками, особенно в серьезных делах. Обдумывай все по-своему. А то сразу — преступник, преступление... Настоящие преступления делаются там, за стенами, под прикрытием законов и великой демагогии. Так-то, Тим...

— Пожалуй, хватит,— сказал Комиссар, устало потирая виски.

Грегори отключил настенный экран. Он все еще был бледен и бросал на гостя отнюдь не ласковые взгляды.

— Послушайте, Стив,— вздохнул Комиссар,— на моей физиономии семь полезных отверстий, и лично мне вполне этого хватает. И не пытайтесь продырявить меня дополнительно своими кровожадными взорами.

— Но вы же выдвинули мерзкую гипотезу...

— Мерзкую? Может быть... Но в ваших материалах нет ничего, указывающего на Нодье. Кстати, что плохого вы усматриваете в развитии мозговой надкорки? Или в третьей сигнальной системе?

— Для суперсапов оно, конечно, неплохо,— через силу ухмыльнулся Грегори.— Вопрос в том, каково это для нас. Вы понимаете, что такое гиперментальные функции?

— Что-то вроде сверхмышления, да?

— Вот именно! Возникает качество, которое уже нельзя свести к разуму, которое, грубо говоря, относится к обычному человеческому мышлению так, как самое оно относится к адаптационным комплексам высших животных. Иными словами, если над зародышевой клеткой вашего внука поколдует Жан Нодье, вы отстанете от наследника на целую ступеньку эволюционной лестницы...

— Конечно, я многоного здесь не понимаю,— после некоторого раздумья произнес Комиссар,— и мне вовсе не хотелось бы сыграть роль дедушки-обезьяны... Но стоило бы спросить еще и внука. Вдруг его жизнь окажется много счастливей, стань он этим самым суперсапом. Может, он увидит такое, чего нам с вами ни за что не понять и даже не увидеть. Откровенно говоря, я и сам бы непрочно полюбоваться на мир сквозь третье полушарие, хотя бы денек... Дурацкое название, правда?

— Надкорку называют третьим полушарием лишь в шутку,— начал Грегори, потихоньку входя в азарт.— Но штука это вовсе не шуточная! У Нодье впервые сотворяется существо много сложнее своего творца, и, дав жизнь новому виду людей, мы вообще ни на что не можем рассчитывать всерьез. Суперсапам будет просто наплевать на наши цели и надежды, рано или поздно они начнут действовать так, что мы их не поймем, и тогда уже поздно бить тревогу. Суперсапы — самое остроумное оружие по уничтожению хомо сапиенс и его цивилизации. Они отберут — добровольно или насильно — наше лидерство, и на Земле произойдет адский взрыв...

— Похоже, все это голые эмоции,— усмехнулся Комиссар.— Просто вы сами слишком остро переживаете свою оторванность от суперсапов...

— Неужели вы всерьез сводите проблему к моей видовой зависти?

— Я ни к чему не свожу проблему. Это она, эта самая проблема, сводит вас с ума. А скажите — разве ваши эвросапы менее опасны?

— Эвросапы? — удивился Грегори.

— Их можно назвать так или по-иному, но симбиоз человека с эвроматом в вашей программе практически неизбежен. Я правильно понимаю?

— Отчасти! — горячо заговорил Грегори.— Понимаете верно, но лишь отчасти. Эвромат заметно усилит логические функции человека, но оставит его человеком... В эмоциональном плане!

— Вы полагаете, что эмоциональный мир суперсапов обнищает из-за того, что они отрицательно реагируют на физическое насилие? Неужели без стрельбы и мордобоя нам станет хуже?

— Не знаю,— ответил Грегори.— Наверное, человек станет лучше, но что-то уйдет. Люди будут сдержанней, и мой внук не бросится на комиссара ПСБ, защищая честь своего учителя...

— И не получит по шее,— поддразнил его Комиссар,— и не станет с ковбойской непосредственностью толкать следствие по ложному пути...

Вот и я побывала там, высокопарно выражаясь, за гранью разума, думала Анна, и там нет ничего страшного, просто иной мир, параллельный нашему, почти параллельный, почти без точек пересечения... А здесь, в общепринятой реальности, мне страшней, намного страшней. Именно страх гонит нас иногда в параллельные вселенные, те, чьи законы еще позволяют нам существовать. И не так уж важно, что эти иные законы меняют местами фантомы и реалии, главное — они помогают нам выжить...

Пройдет сколько-то лет, и на планете в самом деле все перепутается. Если маленький бихевиор-эвромат — кажется, так называет его Игорь,— если эта милая игрушка обретет полноценную сенсорную систему и возможность дистанционного воздействия на окружающую среду — тогда что? Мы создадим параллельную цивилизацию, а потом сотни лет будем исследовать возможности контакта с ней, словно с инопланетянами...

Да о чем же я думаю? Я как бы специально спровоцилась сама с собой и боюсь вспоминать о Тиме — это граница, рубеж, на котором не удается слишком долго балансировать, который легко дает шанс оказаться по ту сторону... А мне туда нельзя, мне просто некогда шляться по всем этим обезболивающим параллельным мирам. Мне надо быть здесь, в том единственном мире, где исчез мой мальчик, где сейчас его наверняка мучают. А встать и броситься на поиск невозможно, все силы покинули меня, и только какая-то страшная внутренняя сила по имени слабость прижимает меня к этим подушкам, заставляет пассивно и бесцельно ждать событий, а значит, снова и снова уходить в инобытие...

Лет двести назад я покаялась бы, я бы возопила: не карай меня, Господи! Не карай меня, глупую, за дерзость мою, ибо согрешила я пред тобой и пред тварями твоими, воспарила в гордыне непомерной к тайному замыслу, коим тщилась облагодетельствовать свой род и себе добить толику прославления. Я мыслила подарить людям бессмертие, мыслила оживить свои фантомы, сделать их не мертвыми слепками покойников, но подлинными людьми, способными воспринимать мир и по-своему реагировать на него, желала превратить древнюю урну с прахом в живую и мыслящую голограмму, ибо не могла перенести утрату отца своего, ибо воспарила мечтой, чтобы образ близкого никогда не исчезал, а жил в моем доме, жил, впитывая все новое, и мог прийти ко мне в любой момент и дать совет, и поддержать, и помочь выплакаться, как в детстве, когда большая и теплая отцовская рука так волшебно превращала слезы в улыбку, так щедро дарила успокоение и радость...

Я покаялась бы, но некому каяться, и отца уже нет — ни реального, ни фантомного, а есть собственный скрежет зубовный и стремление встать; и против него, простого стремления — могучая внутренняя сила, именуемая слабостью...

— У меня есть немного времени, Тим,— сказал человек.— Посидим, поболтаем... Я расскажу тебе интересные вещи.

— Но потом вы отпустите меня? — спросил Тим без особой надежды.

— Это будет зависеть от нашего взаимопонимания, дружок. Ты ведь очень понятливый парень, и ты уже догадался, что зря в гости не затащидают, тем более — насилию. Ты действительно очень мне нужен. А меня зовут Зэтом. Я просто Зэт, и точка. Потом ты поймешь, что это самое подходящее имя для человека, потерявшего все...

«Он не так уж смахивает на человека, потерявшего все,— подумал Тим.— Я не удивлюсь, если эта комната окажется в подвале его личного старинного замка. Прямо пародия в стиле ретро-примитив, хотя и не слишком смешная...»

— Когда-то у меня было вполне добропорядочное и даже более или менее известное имя,— продолжал Зэт.— Когда-то, Тим, я работал вместе с твоим отцом, можно сказать — это мы с ним начинали программу эвровооружения нашей цивилизации. Скажу сразу: Игорь Ясенев был подлинным лидером в нашем tandemе. Не хочу, чтобы у тебя мелькнула хоть тень подозрения — дескать, он украл у меня пару отличных идей, а я вот решил отомстить его сыну. Игорь сам сверхщедро раздаривал идеи, и я за многое ему благодарен...

«У тебя очень уж самобытные представления о благодарности,— подумал Тим,— ты умеешь воздавать сторцией...»

— Мы славно работали с твоим отцом, и мне приходилось довольно часто включаться в экспериментальные эвросистемы, чаще других... Ты вообще-то знаешь, что такое эвромат?

Тим неопределенно пожал плечами и решил промолчать.

— О, малыш! Эвромат — это чудо. Хотя чудо весьма простое, как и все чудеса на свете. Это сверхъемкий сверхскоростной компьютер, которому доступны целостные оценки ситуации. В него введены определенные исходные принципы отбора, а он способен иерархически организовывать информацию, хранящуюся в его памяти,

и потому обладает высокой обучаемостью и данными для работы по многим тысячам параллельных каналов — то есть всеми преимуществами, характерными для интеллектуонов. Но, кроме того, эвромату разрешено выстраивать собственную систему ценностного отбора. Иными словами, ему открыт путь к творчеству. Эвромат впитывает и перерабатывает огромный культурный фонд, практически недоступный по объему и тем более по уровню усвоения одному человеку и даже небольшому коллективу специалистов. Поэтому он способен с невероятной скоростью пройти по полю аналогий и смоделировать любой круг явлений — из-за этого его сначала и называли интеллектуальным аналогизатором. Он умеет отыскивать удивительно далекие аналогии, обосновывать их и развивать, то есть доводить простенькую исходную модель до уровня весьма развитой теории, причем на каждом шаге обобщений он заботится о стыковке с другими областями исследований. А это порождает множество новых задач, иногда их число нарастает лавинообразно... Я понятно говорю?

Тим слегка кивнул и подумал, что отец умел подбирать увлеченных единомышленников.

— Мы очень быстро сообразили, что эвросистемы ведут к полнейшей перестройке интеллектуальной деятельности. У нас на глазах появлялись не просто хитроумные роботы, а существа, умеющие формировать и проводить в жизнь собственные программы. И вот тогда, почти десять лет назад, мы впервые столкнулись с результатами известного тебе Нодье и осознали границы собственных возможностей. Ведь, по исходному проекту, эвроматы были все-таки ограничены нашей, человеческой системой ценностей — что же еще могли мы вогнать в программу их конструирования, чем еще ограничить коридор их изменчивости? Но Жан Нодье вывел проблему в иное измерение. Он заговорил о новом человеке, о человеке сверхразумном, у которого происходит сдвиг генетического материала примерно на один процент, но этот человек отрывается от обычного сапиенса почти так же, как сапиенс оторвался от шимпанзе или гориллы. Развивается, скажем, надкорковая область мозга — гиперкорктекс, развивается третья сигнальная система — обмен фантакодом, что-то вроде прямого внушения, понимаешь?

Тим снова кивнул, хотя очень слабо представлял себе знаменитую фантасуггестивную связь — о ней много говорили, но пока вряд ли большинство говорящих про никло в ее суть.

— Думаю, ты не так уж мало слышал о суперсапах, но я хочу подчеркнуть главное, — с той же увлеченностью продолжал Зэт. — У этих сверхумников должны разви-

ваться особые, недоступные нашему пониманию цели. И вот представь себе, что суперсапы вышли бы на наши эвросистемы. Они задали бы новый уровень целей и ценностей, и эвроматы утратили бы человеческий масштаб, лишились бы соизмеримости с нашим бытием. Короче говоря, идеи Нодье в какой-то степени предопределили будущую роль сапиенса, человека вообще — непрерывно уходить за собственный горизонт, за красную черту обозримого будущего, непрерывно усложнять себя, чтобы удержать лидерство в конкуренции с эвроматами...

— Но если так,— перебил Тим,— то между программами Нодье и моего отца не было бы противоречий.

— Ты слабо представляешь себе суть их противостояния,— спокойно сказал Зэт.— Впрочем, эту суть мало кто улавливает...

Жан Нодье сидел в своем парижском кабинете, прикрыв лицо ладонями и полностью отключившись от внешнего мира. Его слегка подташнивало, и мысли одна хуже другой раскалывали голову.

«Мне следовало давно выскочить из этой игры, в сущности уже непосильной,— думал он.— Будущее прекрасно достроят и без меня. Вот забавный поворот нашего бытия — новый день и даже новый век запросто наступает без любого из нас. Но в каждом сидит родительский комплекс — врожденное стремление программировать наступающее время, метить его своим идейным кодом, и мы ломаем копья и проламываем друг другу черепа ради того, чтобы завтрашний день выглядел хоть чуточку по-нашему...»

В кабинет незаметно проскользнула Мари, секретарь Нодье, проскользнула и попыталась привлечь внимание слабым покашливанием.

— Трудно оставить меня в покое? — желчно спросил Нодье, не меняя позы.

— Только что для вас передали кассету,— смущенно сообщила Мари.— Просили немедленно доставить ее в ваш кабинет. Было сказано, что она исключительно важна в связи с ближайшим заседанием Большого Совета...

— Ерунда какая-то! — раздраженно произнес Нодье, отрывая руки от лица и мгновенно просверливая Мари своим легендарным взглядом.— Кто передал? Кто просил? Кем было сказано?

— Кассету доставил курьер из спецбюро, он же передал словесное сообщение,— обиженно ответила Мари.— Разумеется, он сразу же ушел, не назвав своего заказчика. Значит, кассета анонимна, и ответ не нужен...

— Если бы,— вздохнул Нодье,— если бы ответ был не нужен...

Мари тут же удалилась, и он сунул кассету в щель воспроизводителя. Однако большой настенный экран остался пустым, лишь голос, резкий и требовательный, заполнил кабинет:

— Я — Зэт. У меня давно уже нет ни своего имени, ни своего лица, но важно не это. Важно то, что я против ваших суперсапов, и я, хомо сапиенс без лица и имени, не допущу их царствия на Земле. Уходите с ними на трансплутоновую станцию, к дальним звездам, хоть к чертям на рога, но уберите их с нашей маленькой тесной планеты. У вас нет выхода, Нодье. Через несколько часов вам предъявят официальное обвинение в похищении мальчишки, и, поверьте, найдутся неопровергимые улики вашего участия в этом деле. Например, на территории одного из ваших филиалов обнаружится труп Тима Ясенева... Я даю вам единственный шанс — вы направите ко мне суперсапа Лямбда со всеми результатами разработки его серии, а сами уйдете на отдых. Разумеется, сначала вы доложите Большому Совету, что весь ваш замысел модификации человека катастрофически опасен. Лучше уйти на отдых, чем в пожизненный и посмертный позор, не так ли, Нодье? Ровно через минуту после того, как кассета прекратит свое существование, вы должны подойти к окну вашего кабинета и поднять правую руку — это знак вашего согласия. Тогда я пришлю вам инструкцию о порядке передачи суперсапа, а ответственность за похищение мальчишки возьму на себя. У вас нет выбора! Не делайте глупостей, Нодье, идите к окну!

Щелчок, и кассета мгновенно вспыхнула и испепелилась.

«Взрывной автомат,— сообразил Нодье, затравленно оглядываясь.— Окажись заряд чуть мощнее, я тоже был бы мертв, как и этот сгоревший голос. Волны прогресса подступают к самому горлу, мы вот-вот захлебнемся ими...»

Нодье встал и подошел к окну. Посмотрел на свою правую руку и спокойно поднял ее, словно приветствуя ясный парижский вечер. На его губах переливалась жесткая усмешка.

3

Мертвый ночной сон придал Анне силы, и наутро она сумела потихоньку добраться до озера.

Это только в милых старых сказках можно было метнуться за тридевять земель, думала она, перешагнуть горы и леса и с помощью добрых птичек отыскать Кощеево логово. Нынешние добрые птички слишком просты для этого мира, а значит, логово останется неопознанным.

Поэтому я буду вглядываться в стелющийся туман и представлять себе Тима, и наговорюсь с ним вволю. Он любил поговорить со мной, мой мальчик...

Вот и теперь он пропадает в полосах серого тумана и о чем-то увлеченно рассказывает, и мне некуда торопиться, наконец-то я выслушаю его, не убегая в свое вечное «некогда», в «некогда», которое так легко перерастает в убийственное «никогда»... Нет, оно еще не переросло, я чувствую. Тимушка жив и находится в каком-то подземелье. Да и где еще могли бы скрывать моего Тима — в страшной сказке всегда должно быть подземелье и злой колдун... Но, по-моему, пока Тимушка никого не боится. Он взахлеб делится со мной своими планами...

Все сбудется, Тимушка, все непременно сбудется, и ты найдешь в истории то, что хочешь найти, только не потеряйся сам на крутом ее витке, не потеряйся навсегда, сынок... И не исчезай, это туман уходит, но ему надо куда-то уходить — тут простой закон природы, но ты не исчезай...

И все-таки ты ускользнул, Тимушка. А твой пapa забыл обо мне, и он прав — грош цена матери, которая средь бела дня теряет своих сыновей и все еще жива и созерцает это утро и это озеро...

— Такова жизнь, Тим,— сказал Зэт,— иногда лишь небольшая разница во взглядах далеко разводит людей. Нодье полагал, что его суперсапы должны быть поставлены на поток прежде, чем будут развернуты общедоступные эвроцентры. Чтобы эти сверхумники сразу не получили в руки готовые эвроматы, понимаешь? Тогда, считает Нодье, переход должен пройти более гладко, суперсапы на долгое время попадут в рамки нашего уровня планирования. А твой отец уверен, что все должно идти наоборот — именно опережающее развитие эвросистем, доступ к которым будет разрешен пока только обычным людям, позволит немного скомпенсировать нашу отсталость, позволит обеспечить сравнительно гладкий переход к новому человеку...

«Это я и так немного представлял,— подумал Тим.— Но чего он, собственно, от меня хочет?»

— А вы сами? — спросил он вслух.— Какова была ваша позиция?

— Я сам? — словно бы удивился Зэт.— Разумеется, до поры я целиком поддерживал позицию Ясенева. Просветление наступило гораздо поздней, чем следовало бы. Оно наступило поздно и было оплачено непомерной ценой...

Зэт умолк, и лицо его сделалось скорбным. Тиму даже жаль его стало — должно быть, очень серьезные обстоятельства заставили этого человека изменить своим привязанностям и броситься в авантюры...

— Мне пришлось слишком часто включаться в эвросистемы, и со временем я почувствовал, что становлюсь другим. Микроэвромат, который я десятки дней таскал с собой, начал творить со мной чудеса. Он действительно здорово усиливал мышление, но кое-что он делал и сверх наших проектов, например, создавал мощное суггестивное поле, и во многих ситуациях это позволяло внушать окружающим что угодно. Спустя пару лет мне стало трудно расставаться с этой игрушкой, я сжился с ней — не столько из-за возможности активного внушения, сколько благодаря метаморфозам, точнее — обратному действию метаморфоз на мою психику. Да-да, эвромат дал мне новые способности, будь они прокляты... Вот смотри.

И Зэт внезапно замерцал, превратился в изящного бедуина, в рыжебородого скандинава, потом в курчавого негра... Это было столь эффектно, что у Тима перехватило дыхание.

«Всего лишь внушение, но и настоящая сказка про Кота в Сапогах,— подумал Тим, немного приходя в себя.— Теперь я попрошу его сделаться мышкой и съем... Но самое смешное — не съем, я побрезгую мышкой, а следовательно — своим освобождением...»

— Одного этого достаточно, чтобы возненавидеть все наши замыслы,— продолжал Зэт, возвращаясь в исходный образ.— Я очень быстро отвык от себя, от всамделишного себя, я втянулся в метаморфозы, как наркоман прошлого — в курение травок, как современный наркофант — в круглосуточные фантпрограммы... От меня остался лишь символ человека, но дело не только в этом. Я постиг главное — Ясенева и Нодье надо немедленно остановить. Они подарили нам опасность, которую нельзя описать обычными логическими конструкциями, в борьбе с которой логика заведомо бессильна. К тому же, на пути к эвросистемам и суперсапам наверняка разбросаны непредсказуемые капканы, куда могут угодить миллиарды людей... И самое страшное — на всех нас обрушится ощущение собственной обреченности. Понимаешь, Тим, на кой дьявол нам будущее, где нет места ни нам, ни нашим — генетически нашим и только нашим — детям?

— Это лозунг неолуддитов, верно? — спросил Тим.

— Суть не в лозунгах, малыш,— усмехнулся Зэт.— Речь идет о реальной опасности. Мы лишимся работы раз и навсегда. Это не снилось Неду Лудду и его ноттингемским коллегам. Поэтому, при всем моем уважении к твоему отцу, его следует остановить, и Нодье тоже. Человечество должно лишь исподволь готовиться к каким-то крайне медленным преобразованиям. Иначе дело завершится всемирным хомопарком. Представь себе огромные резервации на разных материках... Хочешь их увидеть?

Башка трещит от вчерашнего, думал Славчо Миров, испытывая вполне серьезные мучения. Просто не замечаешь этих поворотов под разговорчики о всемирных делах. Разве пропустишь больше одного-двух стаканчиков стима, болтая о девочках или о мелких служебных делах, — ни в жизни! А вот когда речь заходит о глобальных проблемах — о-о! Тут душа словно распластывается в огромный ковер-самолет и зависает над планетой, и зрит корни всех событий лучше великих политиков. Столик «Счастливого шанса» — превосходная обсерватория, а душа парит и парит, и ей много влаги потребно, распластавшейся в планетарных масштабах душе... Однако сверхполезный стимулятор активности, дружочек стим, доводит до головной боли, едва ли не до старинного похмелья...

И вправду не пойму, чем все время недоволен Тэд. Вот Свен — совсем другое дело. Кричи он на всех перекрестках о ненависти к роботам — было бы ясно. Он уже больше года мыкается без дела. В старые времена он считался бы просто безработным, а нынче числится в выбирающих. Неплохая позиция — думай себе о том о сем, посиживай в баре и между делом выбирай себе дело. Чем не каламбур — между делом выбирай себе дело... Весьма гуманный вариант, а на характер Свена — прямо идеальный. Меня бы стошило — ежемесячно являться в Управление Труда и докладывать, что я еще размышляю. Великий философ, да и только! А Свен так лихо научился это делать, что ему еще и соболезнуют, им и отдел социальной адаптации особо занимается, подыскивает ему такие должности, что слюнки текут. Ему даже смотрителем заповедника предлагали — разве бывает что-нибудь лучше! — а он и тут ухитрился пасмурно повесить нос и изобразить натуральную обиду. Да я бы на плечи инспектору запрыгнул от радости, посули он мне что-нибудь такое. Но ведь никто не предлагает...

Факт есть факт — за мной числится почти стопроцентный уровень адаптации, как, скажем, и за Тэдом. И мы мало кого волнуем, хотя Тэд подался в неолуддиты, а я, черт побери, слишком часто сую нос в этот самый «Счастливый шанс»... Все очень просто — современные тестовые машины ничего не стоит обмануть, достаточно быть немногим сдержаннным, не требовать каких-то изменений, и они оценят тебя как полностью адаптированную личность, и, между прочим, все будут довольны — возни меньше. Говорят, эвроматы могут здорово изменить это положение — от них не скроешься за умело выстроенными «да-нет», они снимут эти самые психограммы, в общем, вывернут наизнанку, и сразу станет ясно, каково твоё истинное отклонение от абсолютно счастливой среднестатистической единицы. И тебя начнут непонятными тебе хит-

рыми средствами загонять в предписанный коридор отклонений. Забавно!

И вот ведь странная штука — чем сильней будут эти эвроматы, тем больше отклонений они станут регистрировать. Какая там адаптация, если машины потихоньку отбирают у тебя возможность думать и выбирать! Тут хоть бунтуй, хоть плой на все! Пожалуй, кое-кто пойдет всерьез ломать интеллектронику, не дожидаясь новых мозгов, обещанных этим самим Нодье...

Да, похоже, спокойная жизнь завершается, думал Миров, с тоской поглядывая на экран, включенный в рабочий канал. Счастливые денечки, когда можно три часа последить за работой регионального пищевого комплекса номер такой-то, а потом делать что угодно — хоть на ушах ходить, хоть в фантамате топиться, да, ... такие спокойные денечки уйдут, и начнется невиданная круговорть. Схлестнутся все эти Ясеневы, Нодье, неолуддиты, еще черт-те кто, и нам, простым людям, туга придется в общей свалке больших умников...

И что там собрался показывать нам Тэд? Хочет привлечь в ряды своих единоверцев? Но, по-моему, все они изрядные болтуны, они даже не понимают, о чем кричат. Раскроши они сейчас вот такие пищевые комплексы, роботизированные вдоль и поперек, и нам крышка. Полцивилизации рухнуло бы за несколько дней. Голодные толпы жарили бы неолуддитов на площадях и поедали бы без соли и перца — фу, какая гадость...

Однако, посмотрим, может, Тэд устроит что-нибудь веселенько. А то «Счастливый шанс» стал понемногу надоедать, иногда я начинаю думать, что не такой уж он и счастливый...

«Человек как человек,— думал Нодье, пристально вглядываясь в лицо суперсапа Лямбда,— внешне его не отличить от обычного большеголового, лысоватого человека, разве что немного странные глаза — если смотреть прямо, они словно ввинчиваются в тебя и что-то откупоривают. Так оно и есть, этот парень способен очень ловко откупорить любого партнера. Пока любого, но кто поручится за завтрашний день, за тех чудо-малышей, которые подрастают в разных уголках планеты и не ведают пока о своем предназначении?..»

— Значит, ты все себе представляешь? — спросил Нодье вслух.

— Да, вполне,— ответил Лямбда.— Надо вытащить мальчишку из их тайника. Я дождусь инструкций этого самого Зэта и пойду.

— Ты безумно правилен, сынок,— сказал Нодье, поднимаясь с кресла и отходя к окну.— Но, боюсь, наш мир тесноват для тебя. Я не настаиваю на твоем участии, строго говоря, я хотел лишь посоветоваться с тобой...

«Я начинаю бессовестно врать,— мелькнуло у Нодье.— Без его активного участия мы просто обречены — ни у меня, ни у него нет другого выхода...»

— Ты словно извиняешься, Жан,— едва заметно улыбнулся Лямбда.— Я здесь не в гостях, это и мой дом.

— Ладно,— согласился Нодье,— от тебя ничего не скроешь. Я, конечно, рассчитывал на твою помошь, но имей в виду — если ты влезешь в это дело, любой сотрудник ПСБ может ликвидировать тебя, как носителя запрещенного оружия, как машину, вышедшую из-под контроля... Тебе придется действовать за несколько дней до того, как твой вид получит соответствующий правовой статус. Если получит... Пока же ты считаешься обычным человеком, который вооружен самым непозволительным образом...

Нодье мог бы поклясться, что Лямбда слегка побледнел и даже скрипнул зубами, но, скорее всего, это просто показалось старому биологу, стариашке Жану, который сразу — за одну истекшую ночь! — дognал свой возраст.

Туман уже рассеялся, когда Ясенев вышел на берег озера. Анна, стоя на коленях среди песчаной полоски берега, мерно раскачивалась, словно молилась незримому озерному богу, и в первый момент Игорь слегка испугался — не ушла ли она назад, туда, откуда ее с трудом взвратили вчера.

Ясенев накинул ей на плечи куртку, и Анна обернулась к нему с благодарной улыбкой.

— Ты не поверишь, но недавно я болтала с Тимом,— сообщила она.— Тим приходил ко мне в утреннем тумане.

— Почему же ты меня не дождалась?

— Ты бы не взял меня к озеру. Ты заставил бы меня валяться на подушках и изображать больную...

— Знаешь, Аннушка,— через силу усмехнулся Ясенев, швыряя в воду небольшой гладкий камешек.— Я начинаю верить в реализм фантпрограмм со всеми этими злодеяниями в стиле Кэттля и ангелами, вроде Аля и Ланы. Будь я средневековым мистиком, я бы решил, что Тим просто предчувствовал некоторые события.

— Тебе не кажется, что мы вместе сочинили какую-то мерзкую фантпрограмму? — спросила Анна.— И теперь вместе погрузились в нее...

— Вряд ли ты ввела бы в сценарий похищение собственного сына...

Анна глубоко вздохнула.

— Я могла бы сострить — это ты ввел в сценарий похищение собственного сына. Ты ведь заранее знал, что нарвешься на неприятности, что многих давным-давно тошнит от этого бешеного прогресса. Открывать новые пути — опасная работа. Устремляясь на новый путь, люди иногда проносятся по трупу первопроходца, и среди весело гикающей толпы уйма недовольных — их, видите ли, заставляют топать собственными ножками, и труп какой-то посреди дороги валяется, портит чистый воздух будущего... Но мне не хочется острить, Игорек, мне выть хочется...

Тим с удивлением ощущал, что переходит в какой-то иной мир, погружается в фантпрограмму, которой вовсе не заказывал.

По аллее огромной резервации неспешно двигалась экскурсия суперсапов. Тим почему-то сразу осознал, что перед ним настоящий хомопарк, куда эти сверхумники с каменными лицами пришли подразвлечься. Аллею с обеих сторон охраняла прозрачная стенка из тончайшей проволоки, вокруг которой создавалось мощное поле страха. Тим был уверен, что обычные люди просто не способны пойти на эту символическую стенку и прорвать ее, потому что волны охранительного поля сразу же ударят их, отгоянят, свалят с ног... Тим знал это совершенно точно, ибо он не только созерцал все со стороны, но и был внутри, за сеткой, и именно глазами засеточных сапи — их звали теперь просто сапи, без имен и прочих подробностей,— именно их глазами он видел торжествующе-победительные улыбки туристов, видел летящие над сеткой конфеты, блестящие металлические колечки и спелые бананы.

— Что же ты делаешь! У бедненьких сапиков могут испортиться желудки,— сказала важная туристка своему маленькому сыну.— Бананы следует бросать в зоопарке, глупыш!

— Какая разница! — весело кричал глупыш и продолжал свое дело, и Тиму страшно хотелось впиться зубами в прохладный желтый банан и, став на четвереньки к великой потехе суперсапа-глупыша, съесть этот банан прямо с травы без помощи передних лап, то есть рук...

Суперсапы приближались к концу аллеи, и Тим вместе с другими зарешеточными людьми сопровождал их и вовсю кривлялся, чтобы в его сторону летело все больше конфет, колечек и бананов. Туристы остановились перед гигантской панелью Большого Эвромата, руководящего работой всего хомопарка. Эвромат вежливо заулыбался своим красногубым акустическим синтезатором и стал здороваться с туристами, а потом уговаривать их, дескать, пора покинуть

эту заповедную территорию, а вот завтра им покажут такое...

— Скажите, уважаемый,— выступила вперед важная дама-туристка.— Вот некоторые сумасшедшие утверждают, что мы происходим от этих жалких вымирающих сапи. Откуда берется такой бред?

— О, мадам! — галантно сказал Большой Эвромат.— Теорию происхождения и эволюции бреда так трудно построить. Даже мы, эвроматы, не добились пока решающего успеха. Но мне известна и иная бредовая идея, я рассказал бы о ней, но боюсь вас испугать, к тому же, здесь дети...

— Расскажите, расскажите, пожалуйста! — дружно зашумели туристы.— Пусть дети узнают о диких выдумках врагов прогресса из самого авторитетного источника!

— Я скажу, правда — превыше всего! — провозгласил Большой Эвромат.— Представьте себе, некоторые бездельники утверждают, что мы, эвроматы, были созданы — кем бы вы думали! — этими самыми сапи...

— Какой ужас! Какое безобразие! — наперебой заголосили туристы.— Это ж надо так мозги вывернуть! Чушь!

— И самое смешное,— продолжал Большой Эвромат,— сапи усиленно поддерживают эти легенды... И про вас, и про меня!

— Кошмар! — возопила активная дама.— А мы еще дарим им столько вкусного и красивого... Их надо примерно наказать!

— Наказать! — эхом отозвалась вся компания туристов.

— Вы совершенно правы! — с чувством воскликнул Большой Эвромат, и по хомопарку разнесся его мощный голос, вызывающий единственное желание — укрыться от него за полным и безоговорочным подчинением.— Спать! Спать! И никаких развлекательных фантпрограмм! Перед сном каждый сапи должен вознести молитву Верховному Эвромату Планеты, дабы проклятые луддиты всех времен и народов вечно жарились в струях звездной плазмы. Сапи должны покаяться в греховых домыслах по поводу происхождения высших существ Земли, наделенных истинным и врожденным сверхразумом. Ни один благонамеренный сапи не должен распространять нелепую клевету на истоки гиперментальных и эвросистемных способностей, иначе его ждет страшная кара — лишение той примитивной функции, которая называется человеческим разумом, и немедленный перевод в обезьяний питомник. Спать!

Могучая волна коллективной паники подхватила Тима и швырнула его вместе с толпой в глубину резервации. Единственная мысль раскаленным лучом била в мозг — добраться до своей подстилки и уснуть, разумеется, после всех молитв и покаяний, уснуть без сновидений со всякими

дуряцкими фантазиями и воспоминаниями. Главное — не пришло бы в голову что-либо из подлинной истории, а все обозримое время стянулось к сладкому вчера с бананами и конфетами, а весь прогноз уперся в такое же замечательное сладкое завтра в лучшем, просто распрекраснейшем из лучших хомопарков планеты. Тим несся в обезумевшей толпе, но одновременно как бы парил над ней, единственным взглядом охватывая громадный заповедник, по которому метались бывшие цари природы в поисках своих подстилок, молитвенников и женщин, в поисках укрытия от гремящего голоса, от его укоров, призывов и внушений.

И вдруг среди этой кутерьмы Тим увидел невероятное — в небольшой яме почти в центре хомопарка двое колено-преклоненных, его отец и Нодье, смиренно творили молитвы и громко каялись в своих злобно-клеветнических измышлениях. И все, пробегающие мимо, не забывали смачно плонуть в эту яму и погрозить ее обитателям кулаком. Тим мгновенно захлебнулся волной ненависти и презрения, волна откуда-то извне переполнила его, и он в едином порыве с другими сапи плонул вниз всей этой тошнотворно пенящейся волной, но случайно в последний момент перехватил взгляд отца, вовсе не затуманенный ни молитвенным экстазом, ни раскаянием, а напротив, исполненный напряженного размышлении и иронии.

И не выдержав этого взгляда, Тим рухнул вниз, смеясь с пеной собственного плевка и растворяясь в ней без остатка.

— Не ночь, а сплошная фантастика,— сказал Стив и сладко зевнул.— И самое фантастическое предположение, которое я мог бы высказать, сводится к тому, что сейчас мы пойдем спать...

— Предположение действительно сильное,— усмехнулся Комиссар.— Но, черт побери, как тебе удалось догадаться? У тебя неплохие задатки...

— ...детектива — подхватил Грэгори.— Не совсем так. Я просто передал сведения о пионерах Эвроцентра, о тех, кто был более или менее близок с Ясеневыми. А умная машина выстроила превосходную модель. Так мы и вышли на человека, которого ты называешь Зэтом...

— Ладно, проверим,— сказал Комиссар.— Ты извини, но я хочу задать тебе еще один пакостный вопросик. Почему ты с самого начала с такой силой катил бочку на Нодье? Ведь я чуть не клюнул на твои аргументы... Уверен, ты имеешь против него что-то личное, да?

— Честно говоря, имею. Но начнем с того, что эвромат тоже не исключает варианта с Нодье. Достоверность в три раза ниже, но это еще не исключение варианта...

А личная моя неприязнь к старикашке Жану объясняется очень просто. Из-за него я потерял Нику, свою невесту. То есть, не совсем из-за него, но для меня был гром среди ясного неба, когда она заявила, что любит суперсапа Лямбда и готова разделить его судьбу. Бессмыслица! Надо же вбить такое в голову...

— Она работала у Нодье? — быстро спросил Комиссар. — И снабжала вас полезными сведениями?

— Кончай играть в свои шпионские сюжеты, — разозлился Грегори. — Разумеется, у нас десятки каналов информации о работах Нодье, и у него никак не меньше. И разумеется, я любил Нику не за ее доступ к закрытой информации. Твое мышление — рецидив прошлого столетия с его шпиономанией и шизофреническим засекречиванием любой очевидности. Сейчас иное время! Сведения слегка прикрывают лишь от тех, кто не имеет должной подготовки для их восприятия. Потому что любой проект выглядит несколько по-разному изнутри и со стороны, потому что среди нас еще очень много сторонних критиков-созерцателей, возводящих свое элементарное непонимание эволюции, свое стремление к безграничному моральному и материальному комфорту в ранг какого-то вселенского закона неприятия прогресса...

— Ну, не стоит сердиться, — примирительно произнес Комиссар. — Меня интересовала причина твоей неприязни к Нодье и суперсапам.

— Какая там неприязнь! — усмехнулся Грегори. — Я крайне дружелюбен ко всем мерзавцам, желающим увести мою девушку... Но сейчас, Комиссар, меня тревожит другое. Если мы сумели так лихо вычислить похитителя, то аналогичную работу несомненно мог проделать и Ясенев. И проверить свои гипотезы с помощью эвромата, притом не выходя из дома. И я боюсь, спасти его будет трудней, чем сына...

«Она права, — думал Ясенев. — Мы подставляемся под удары и никогда не знаем, в какую часть нас самих направлен решающий удар. Моя смертельная точка — Тим. Близкий по духу знал, куда бить, он слишком хорошо изучил меня — было время... Даже нешибко сердобольные древние христиане не поставили Саваофа перед жертвенным выбором — Сын или Дух. А может, к этому и сводится главная трагедия евангелических сказаний — к сделанному выбору, по-человечески непостижимому, ибо что есть заклание бестелесного Духа на фоне хотя бы одной минуты, проведенной Сыном на кресте? Да, она права, сценарий был сработан с моим активным участием...»

Игорь Павлович улыбнулся Анне и медленно, лицом к ней стал отступать, удаляться, и сразу его контуры завибрировали — он менялся. Анна расширившимися и словно замерзшими глазами следила за происходящим. Ясенев немного уменьшился в размерах, вроде бы неуволимо изменились его черты, и перед Анной уже стоял Тим, подлинный живой Тим — не из озерного тумана, а из плоти и крови, юная копия своего отца. Тим неспешно пятился, не отводя взгляда от Анны, а она чувствовала, что не может оторваться от земли, броситься к нему, обнять, затискать, наконец, спрятать и унести с собой в безопасность лесного домика... Истина коротким разрядом молнии ударила в ее мозг, и там сразу выстроилась вся картина удаления Игоря.

«Эта проклятая наука сделала его другим,— промелькнуло у Анны,— возможно, уже и не человеком, и закрыла нам путь к сестричке Тима, о которой мы мечтали столько ночей, и закрыла все-все-все...»

А Игорь, полностью поглощенный образом Тима, медленно удалялся, и Анна поняла, что вот сейчас он исчезнет, как час назад исчезли туманные полосы над озером.

— Я все знаю! — закричала она.— Не смей этого делать, не смей! Я не могу терять сразу всех... Ты не спасешь Тима... Не на-до!

Но крик словно ускорил движение Тима-Игоря, он взмахнул рукой и бросился бежать. Импульс отчаяния подбросил Анну с земли, и она метнулась за исчезающим мальчиком, но тут же оступилась и упала.

И на момент ей показалось, что разум окончательно испаряется из головы, которая мгновенно опустела и стала раздуваться, как мыльный пузырь. Лишь в последний миг какой-то крошкой ускользающего сознания она зацепилась за спасительную идею — Игорь знает, где находится Тим, безусловно знает, и он добьется своего, спасет их мальчика, потому что Игорь всегда добивается своего...

Тим с трудом выполз из тумана индуцированной фантпрограммы. Иронический взгляд отца, взгляд без тени раскаяния, выталкивал его в эту пронзительно светлую и холодную комнату.

— Как тебе понравился хомопарк? — бодро спросил Зэт.

— Это ложь, грязная ложь! — закричал Тим.— Отец никого туда не толкает! Дорога в будущее открыта всем. Неужели ты не хочешь, чтобы мы по-настоящему поумнели? Знаешь, кому выгодно держать людей в интеллектуальной узде? Подонкам, вовсю прущим наверх, рвущимся к власти ради власти,— вот кому! Так говорит мой отец, и он тысячу раз прав! А ты просто предатель, ты предал

отца и всех нас, а теперь ты ищешь оправданий и сводишь счеты...

Тим захлебнулся гневом, пружинисто вскочил и бросился на Зэта. Но в то же мгновение перед его лицом мелькнула жесткая ладонь, и он отлетел прямо в вязкую пену своей ниши.

— Этого еще не хватало,— прошептал Зэт, но тут же голос его окреп, в нем послышались стальные нотки.— Я думал, Тим, ты достаточно самостоятельный парень, но ты оказался ничтожным папенькиным щенком. Щенков учат! Так вот, сейчас мы выйдем на индиканал твоего отца, и ты сообщишь ему размер выкупа за твою пустую голову. Ему придется собственоручно взорвать свой проклятый Эвроцентр. И самое смешное — он это непременно сделает. Потому что любит тебя, хоть и любить тут нечего...

«Если б здесь было окно, я выпрыгнул бы вниз головой,— думал Тим, растирая ноющую ключицу.— Отцу не пришлось бы идти на такой позор...»

— Ничего! — усмехнулся Зэт и почти по-дружески подмигнул Тиму.— Я и не такое переживал...

И Зэт стал сосредоточенно набирать код Ясеневского индиканала.

— Ты зачем приволок сюда этого парня? — шепотом спросил Тэд Нгамбе.

— В нашем баре на всех мест хватит,— тихо ответил Свен.— Это мой старый приятель,— громко добавил он.— Будь знаком, перед тобой Хосе Фуэнтес, какая-то там, правая или левая, рука самого Ясенева.

— Оч-чень приятно,— хмуро проворчал Нгамбе.

— Насчет руки Свен немного загнул,— дружелюбно улыбнулся Фуэнтес.— Я более всего соответствую роли одного из пальцев...

— Да какая разница! — воскликнул Нгамбе.— Будь ты хоть пальцем на спусковом крючке, от этого ваши эвроматы лучше не станут.

Они недавно встретились в «Счастливом шансе» и сейчас поджидали Мирова. Свен уже и сам не понимал, зачем назначил свидание Фуэнтесу именно здесь и именно сегодня.

«Мы сто лет не виделись,— думал Свен,— и могли бы потерпеть еще денек-другой, а то и целый год. В сущности мне не о чем с ним говорить. Он делает большое дело, опасное или полезное, но настояще, а я все еще хожу и выбираю, хожу и выбираю... Стукнуло же в голову, что только Хосе с его блестящей логикой поможет мне разоб-

раться в неолуддитах. Однако будет глупо, если Тэд находит ему...»

— Представь себе, Тэд,— меланхолично сказал он,— мы с Хосе прошли вместе целых пять ступеней школы...

— А потом ваши дорожки слегка разбежались,— резко вставил Нгамбе.

— Да, слегка разбежались,— все так же спокойно продолжал Свен.— Дорожки всегда разбегаются. Хосе делает теперь искусственные мозги, и, мне кажется, вам со Славчо было бы интересно его послушать.

— Ты что, собрался со своим другом агитировать меня? — возмутился Тэд.— Меня доагитировали до того, что я не знаю, зачем я нужен на своей работе. Тебе приходится уже целый год шляться без дела, корчить этакого философа... Ты, небось, надеешься, что писанина, которой ты тайком заполняешь свой стол, осчастливит литературу, вышибет искру из глаз какого-нибудь компьютера? Ну-ну... А его, своего друга, скоро доагитируют до положения ясельной няньки, и он с радостью будет утирать сопли своему любимому эвромату, полагая, что занимается настоящим творчеством.

— Ты сегодня раздражен, Тэд,— вздохнул Олафссон.— Не иначе, кто-то из твоих роботов показал тебе кукиш...

— Просто я хотел, чтобы сегодня ты и Славчо взглянули не на механический кукиш, а на живых людей,— сказал Тэд.— Но я вовсе не уверен, что твоему другу будет интересен наш поход.

— Свен ничего мне не говорил,— удивился Фуэнтес.— Но если я лишний...

— Это твоя проблема — решать, лишний ты или нет,— твердо сказал Тэд.— Каждый из нас имеет выбор в этом смысле и может заранее уйти в лишние. Так удобней. И вот что — пусть тебе сразу все станет ясно. Я активный неолуддит. Я противник роботов, тем более — противник эвроматов. Потому что при них лишними окажутся не только простые парни, вроде нас со Свеном, но и такие умы, как ты и твой Ясенев...

— Терпеть не могу громогласных воплей от имени простых парней,— перебил его Фуэнтес.— Я, знаешь ли, уважаю сложность. Наш мозг устроен очень сложно, но я не уверен, что предельная простота и массовость амебы — серьезный аргумент в пользу немедленного расщепления мозга на отдельные клетки.

— Не надо так, Хосе,— вклинился Олафссон,— Тэд раздражен, и...

— Все в порядке,— остановил его Нгамбе.— Мне нравится твой друг. Он умеет говорить правду в глаза. Предположим, у нас разные точки зрения, но он здорово меня обрезал, не стал сюсюкать, что в глубине души он,

дескать, и сам прост, как амеба. Но я хотел бы знать, хватит ли твоей сложности, чтобы пойти с нами на митинг неолуддитов. Хватит, а? Или твои эвроматчики запрещают тебе такие посещения?

— До сих пор я ходил туда, куда считал нужным,— ответил Фуэнтес.— Однако, где же ваш третий друг?

4

Под капсулой, уносившей Грегори и Комиссара, пролетали деревья, дома, зеркальцами мерцали озера и речные извины.

— Ты наговорил мне тьму страшных сказок, Стив,— произнес Комиссар после долгого молчания.— Считай, что я чудовищно отстал от жизни, но, мне кажется, в старые добрые времена на эти вещи смотрели правильней — всякие эксперименты над человеком попросту запрещались. Тем более — опыты над еще не родившимися младенцами, которые рисуют стать выродками со всей мозговой надкоркой и варианты мировосприятием.

— Племенные табу во все времена пользовались некоторым успехом,— прокомментировал Грегори.— И во все времена находились любители идеализировать прошлое — дескать, чем ближе к Творцу, тем лучше мы были... Это чушь, Комиссар, а сейчас это очень опасная чушь — слишком высоки темпы, слишком спрессовано время, а значит непомерна плата за страх перед будущим. Раньше оно наступало медленно, давая возможность освоиться и как следует покритиковать первопроходцев. Теперь нужно больше смелости, чтобы идти вперед. И кстати, я думаю, что тех запретов на опыты, о которых ты говорил, на самом деле никогда не было.

— Очередной парадокс? — усмехнулся Комиссар.

— Нет, все очень просто. Настоящего запрета на опыты над людьми никогда не существовало. Выведение узких специалистов, которое широко практиковали еще в недавние времена,— разве это не опыты над людьми? А экипажи космических кораблей и глубоководных станций? А мировые рекорды по тяжелой атлетике? А пересадки органов, особенно мозга? Ты скажешь, что действия такого рода были связаны с насущными запросами цивилизации, и постановка каждой задачи вытекала из довольно гуманных соображений? Верно! Но ведь работы по суперсапам лежат на той же линии. Сначала, экспериментируя с зародышем, преследовали вполне очевидную великую цель — подавить наследственные болезни. Ты бы выступил против такой программы? Разумеется, нет! А между прочим, биологи успешно вмешивались в работу молекулярных структур и фактически создавали будущему человеку новые

органы — не те, дефектные, которые были отпущены природой. А разве это не вмешательство в проект человека? Потом, если ты помнишь, дело дошло до преодоления врожденной психической неполноценности. И тут наступило осознание — елки-палки, да мы же формируем новую кору, которая в таком нормальном виде вовсе не должна появиться у данного малютки! И вместо неизлечимого идиота получаем активного члена общества! Тебе и это не нравилось?

Комиссар удивленно покачал головой.

— Черт возьми, об этом я как-то не думал. Понятно, это мне нравилось. Между прочим, мой младший сын — его тоже подвергали небольшой генетической компенсации — настоящий вундеркинд... Скажу по совести, этот генетический контроль — великая вещь.

— Вот! Великая вещь! — радостно подхватил Грегори. — Значит, вмешиваться в биоструктуры человека, чтобы он не стал идиотом или не истекал кровью, можно, а снабдить человека более мощным мозгом нельзя, да? Ведь именно это и заметил Нодье — преодолевая наследственную психическую неполноценность, можно чуть-чуть сдвинуть интеллектуальный уровень будущего человека... Но этого «чуть-чуть» хватало, чтобы дети становились вундеркиндами и вырастали на редкость талантливыми и деятельными. Вот он и решил пойти дальше и резко усилить мышление, снабдить человека надкорковым синтезатором, способным проигрывать сотни вариантов будущего за секунду, дать ему новую сигнальную систему и язык невиданной емкости и выразительности...

Грегори вот-вот начал бы декламировать, но Комиссар остановил его.

— По-твоему, получается, что все мы, не снабженные гиперментальными структурами, вроде идиотов или того хуже — высших животных, да?

— Ты слишком упрощаешь ситуацию, и отсюда гротеск на прогресс, гротеск в духе неолуддитов. Архантропов, живших полтора миллиона лет назад, при желании можно считать идиотами или животными, но то и другое — нелепость, они просто наши очень далекие предки. Вероятно, с точки зрения естественной эволюции, Нодье и его суперсапы разделены тоже добрым миллионом лет — в так называемом пропорциональном эволюционном возрасте, оцениваемом по сдвигу генетических структур. Но физически они современники — своеобразный парадокс сверхплотного времени, в котором мы живем. Направленная генетическая реконструкция зародышевых клеток пустила ленту эволюции в бешеном темпе. И этот темп был особенно стимулирован освоением искусственной матки — мы как-то незаметно подошли к рубежу нового процесса

воспроизведения, включающего особую технотронную стадию, на которой ведется перепрограммирование естественно-биологического материала. Благодаря этому, видовые трансформации могут протекать в сроки того же порядка, что и продолжительность жизни одного или нескольких поколений. В таких условиях обычного отбора, обычного закрепления прогрессивных признаков уже недостаточно — по сути это уже неклассическая биология с предельно интенсивными мутагенными факторами, биология авто-эволюционных популяций, которые не ограничены приспособлением к окружающей среде и даже приспособлением этой среды к себе, но способны к быстрому самоизменению. Похоже, при нашем уровне регуляции внешней среды мы можем позволить себе создавать существа с самым невероятным темпом усложнения. Насколько я знаю, Нодье довольно активно размышляет над таким вариантом человека, который будет практически непрерывно наращивать свою сложность. Соответственно, это сильно скажется на эволюции социальных организмов...

— Недавно я рылся в своих архивах,— сказал Комиссар.— Представь, что у меня есть не только суперлатитковые записи, но и настоящие старые книги... н-да, самые настоящие, и довольно много. Так вот, один великий поэт прошлого века написал тогда: «Слава богу, мы смертны, не увидим всего». Послушав тебя, я тоже радуюсь своей смертности. Так-то! И хочу добавить, если тебе надоест твоя адская лавочка, Стив,— надумаешь послать к черту все эти эвро и супер,— топай прямо ко мне, в ПСБ, у тебя светлая голова, а остатки дури я из тебя в два счета выколочу...

— Не надо! — перебил его Грегори, изображая испуг.— Не надо ничего выколачивать — ни в два, ни в три счета... У тебя слишком здорово это получается! А кстати, куда ты меня тащишь?

— Тот самый бывший соратник Ясенева должен присутствовать сегодня на одном любопытном собрании. Такую информацию дали мне утром. Теперь Зэт заправляет чем-то важным у неолуддитов.. А собрание тебе понравится — особенно в плане размышлений о прогрессе. Если только успеем...

Великие замыслы лопаются из-за самой ерундовой мелочи, думал Зэт. Индиканал Ясенева не включается, и точка! И этот щенок мечет злобные взгляды — прямо парой блейзеров по мне полосует... Что делать?

Меня будут втискивать в историю в маске Герострата, словно ЭвроСентр — настоящий храм, а я хотел сжечь его ради своей славы. Да плевать мне на славу. В этом мире

нет подлинного бессмертия, что бы там ни выдумывала эта Анна Ясенева с ее фантакопиями... А раз нет, слава — пустой номер, приманка для таких вот щенков, мечущихся среди воображаемых абсолютов. Слава — простенький социальный пряник, которым легче всего принудить к усердию в меру сытых и довольных. Потому что в конечном счете все довольные в меру стремятся к безмерному, например — к славе на все времена. И им с удовольствием дарят эту дурацкую иллюзию.

Как ни глупо, а быть мне в черных героях. Стану кем-то вроде Кэттля из глупейшей детской фантпрограммы, стану этаким штамп-негодяjem, легендарным регрессистом, отпугивающим многих, но кое для кого и притягательным. Нет-нет, и всплынут какие-то неолуддиты — хоть с обычной корой, хоть с тремя надкорками, всплынут и вспомнят меня и поклонятся моему портрету.

Эти подлые борцы за прогресс выдвинут первую попавшуюся идею — дескать, я рвался к власти, хотел установить диктатуру неолуддитов. И ни за что не сообразят, что и на власть мне наплевать. Но меня обязательно спутают с этими горлопанами-неолуддитами, стремящимися привести всех к своему узколобому знаменателю. А ведь они для меня только временная ширма — вот что трудно будет понять грядущим историкам.. Никто не разглядит мою сокровенную пружину, не догадается, что я руководствуюсь высочайшими мотивами и ради них рисую угодить в черные герои развлекательных фантпрограмм.

Разве этот щенок, вызверившийся на меня из угла, поймет, что его похищение связано с великой проблемой Космического Молчания, между прочим; так и не решенной по-настоящему?..

Когда вспоминаешь те годы после ухода от Ясенева, жутко делается, удивляешься, что вообще выжил... Эти мои нелепые запросы в Большой Совет, громкие сигналы тревоги,— разве кто-нибудь прислушался к ним? И больше всего раздражало безмерное высоколобое равнодушие: «Эксперты Совета не считают поднятую Вами проблему первостепенно актуальной. Мы признательны за Вашу социальную активность и рассчитываем на нее в будущем...»

Идиоты! Надо иметь будущее, чтобы в нем на кого-то рассчитывать! Если верны все эти идеи ускоренного прогресса и возникают автоэволюционные цивилизации, непрерывно усложняющие свой лидирующий вид, то они должны буквально за считанные века овладеть всей Галактикой, как своим домом. Иначе зачем им все эти гиперментальные функции, все их ускоренно развивающиеся мозги? Казалось бы, очевидно — так нет! Начинаются бесконечные учёные тонкости — дескать, мы пока слишком слабы в смысле планетарных сенсоров и систем переработки

информации, наверняка не воспринимаем многие типы сигналов, а прямой транспортный контакт — штука маловероятная, потому что любая сколь угодно развитая цивилизация диффундирует в пространстве Галактики крайне медленно... Оказывается, наши телескопы и компьютеры ни к черту не годятся, хотя их возможности уже опережают человеческое понимание. Но ведь суть не в том, насколько мы разовьем свои сенсоры. Почему Они не реагируют на нас, почему позволяют тонуть в космическом одиночестве — вот проблема проблем!

А я уверен, что знаю разгадку. Они тоже некогда дали волю своим Ясеневым и Нодье, они тоже приветствовали своего гиперментальногоmessию — какого-нибудь суперсапа Лямбда с его бредовым проектом перепрограммирования жизни на принципиально новые молекулярные структуры... И захлебнулись их мечтами, как океанскими волнами. И покончили самоубийством на одном из круtyх выражений прогресса, на выражении, который пытались пройти, не сбрасывая ускорения... Но никто не хочет слушать доморощенную Кассандру. Прилети сюда сейчас какнибудь зеленоухий беглец с такого-то, черт-те какого звездного скопления и шепни нам в предсмертной агонии — дескать, собратья по глупости, кончайте с этим бессмысленным прогрессом, пока живы, да тут по винтикам разнесли бы все эти эвроматы, одни топоры да грабли оставили бы...

Трагедия пророков — в их посмертности. Но тут хуже — памятники некому будет ставить, сочинения пророков пойдут на растопку пещерных костров или на жвачку новым динозаврам...

А связи с Ясеневым нет... И что делать с мальчишкой? Если до него доберутся мои зверята, дело обернется настоящим террористическим актом, и все падет на мою голову. А на нее и так падет предостаточно. Не хватало только крови Аннушкиного сына, который мог бы быть...

Пропади они пропадом, эти воспоминания!

Серебристо-голубая капсула спикировала на поляну вблизи небольшого коттеджа. Троє мужчин в черных комбинезонах и масках выпрыгнули из кабины, и вслед за ними оттуда медленно выбрался суперсап Лямбда. Его почтительно пропустили вперед, и он все так же неспешно двинулся к дому. Маски, подстраиваясь под его ленивый темп, поплелись сзади.

Я могу не спешить, думал Лямбда, хоть несколько минут провести в обычном, неконцентрированном времени как нормальный сапи, топающий по прекрасной лужайке к гостеприимному дому. Счастливы они, не видящие одно-

время утра, вечера и полудня, перед чьими глазами не троится или не десятерится настояще, не расслаивается сотнями вариантов прошлое, не пляшут автоиндустрированные фантомы будущего и вообще время не скручивается тысячами нитей в узлы вероятных катастроф.

Иногда думаешь — они и счастья-то своего не понимают, рвутся вверх к этому ослепительному многомерию, и бросают меня в разведку, хотя то, что я могу принести, много обширней их слабенького, но отчаянного разума.

Еще в детстве старина Жан рассказывал мне притчу об индейском юноше-лазутчике, которого племя решило внедрить в мир бледнолицых... Кончилось тем, что он по уши набрался цивилизации и не смог донести до собратьев сути машинного бытия, к тому же — не вписался обратно в племенную жизнь. Жан очень старался и не знал, что после первых же его слов я мгновенно проиграл полсотни вариантов, в одном из которых — разумеется, наиболее вероятном — произошло именно то, что и в притче... Вот и я вроде того лазутчика — мне нет пути назад, но нет и того города, где я мог бы жить как один из многих. Когда-нибудь, через несколько десятков или сотен лет, Земля заполнится подобными мне — все так. Но пока я не могу испытать главного человеческого счастья — оказаться среди миллиардов равных. И не знаю, суждено ли, потому что каждый суперсап слишком не стандартен. Жан убеждает, что это нормально для эпохи эксперимента, что потом... Мечтатель Жан!

«Потом» окажется совсем иным. Эксперимент станет системой, и вот-вот из лабораторий Жана взлетит птенец, для которого я буду представителем низшего вида. Так будет, если я соглашусь сам вести одну из экспериментальных серий, или Нодье воспользуется программой генетической операции, разработанной эвроматом... И скоро получится так, что вершина эволюции, наскоро зафиксированная в досье мировых рекордов, сможет сохранять лидерство несколько лет или недель, чтобы потом заполнить собой небольшую нишу земного заповедника... Жан надеется на какой-то закон о стандартизации лидирующего вида, надеется выиграть некоторое время для закрепления лучших видовых особенностей естественным механизмом смены поколений. Но как быть с соблазном еще лучшего результата? С этим опаснейшим человеческим соблазном, и не только человеческим... Не хочется впрыскивать Жану порцию черного пессимизма, но вероятность принятия такого закона наверняка мала, а вероятность соблюдения — практически чистый нуль.

Джин уже выпущен из кувшина, и волшебное заклинание, которое вроде бы делает его управляемым, — лишь

наша иллюзия. Это он управляет нами, просто разумными и гиперментальными, управляет по элементарной схеме обратной связи — через наши желания, через их осуществимость. И он будет подталкивать нас к предельно быстрому усложнению, манить все более глубоким и многомерным видением Вселенной. И многим безоглядно смелым сапи — боюсь, и старине Жану тоже — этот процесс представляется чуть ли не бесконечной лестницей, уходящей в заоблачье.

Но всему есть предел. Жан улыбается, пока еще улыбается, когда я пытаюсь втолковать ему свое понимание воображаемого заоблачья. Мы просто уткнемся в предел изменчивости, связанный с природой молекулярных комплексов, на которых основана земная жизнь. И надо заранее готовиться к тому, что лестница конечна, как и все лестницы в этом мире, и ее конец не должен стать обрывом, с которого сорвется цивилизация, уповающая хоть на какие-то неисчерпаемости...

Нужно размышлять о новых этапах эволюции, какой бы фантастикой они не казались, размышлять о реальности заоблачья, сколь бы далеким оно не выглядело. Для меня уже практически достоверна неизбежность будущего перепрограммирования разума на новые молекулярные структуры — те же суперлатниковые пленки, так здорово проявляющие себя в интеллектронике, особенно — в эвроматах, вот-вот станут эффективней наших нейронных систем. А ведь это только начало... Но как передать свои оценки тем, кому они кажутся слишком тонкими и сложными, слишком многофакторными? Как вместить свое дальнее футуровидение в проекцию на мышление сапиенсов? Ведь джин уже выпущен из кувшина...

Вот и дверь. Пора. Все может кончиться весьма плачевно, и Ника выцарапает глаза бедняге Жану. И мне приятно сознавать это. Мы любим тот мир, где в случае нашей гибели остается кто-то, способный взорваться возмездием, хотя не в нем дело... способный взорваться болью, реальной болью утраты безмерно дорогой своей части — той, без которой жизнь не в жизнь. Если бы я мог увести Нику за собой, любой ценой протащить ее сквозь барьер гиперментальности... Мне было бы много легче перешагнуть порог этого мерзкого дома, где меня тут же загонят за звуконепроницаемую стенку...

Идиоты, подумал Лямбда, открывая дверь, некоторые из этих симпатичных сапи кажутся кошмарными идиотами! К счастью, прогресс в преобразовании мозгов слегка опережает прогресс в области тюрьмостроения. И это обнадеживает...

«Со стороны может показаться, что здесь идет митинг «Юных космонавтов» или аналогичной организации, безобидной и даже полезной,— думал Игорь Павлович.— Но здесь нечто совсем иное — толпа юнцов, приведенная в когерентное состояние единодушия, когда каждый мнит себя частью великой всесильности, с восторгом жмется к плечу соседа и орет до изнеможения, до полного экстаза... Такое надо видеть, чтобы осознать, что поток времени в наших лабораториях и в толпе перевозбужденных, легко внушаемых и не слишком образованных людей — это разные потоки, и беда, если огромная разность скоростей породит вихри и водовороты, способные смести сами лаборатории, взорвав эту толпу диким, первобытным озлоблением... И конечно, там и сям мелькают утесами суровые лица наставников, чьи взоры устремлены поверх голов к невиданно прекрасным вершинам, а помыслы тверды и тупы, зато колossalно магнитят всю свору именно своей твердостью и односторонностью».

Большой зал, куда не без труда проник двойник Тима, действительно бурлил и постанывал, преимущественно вразброс. Но вдруг в одном из рядов вырастала фигура с воздетыми к потолку руками и перекошенным лицом, разевала пасть и истощно орала: «Нет хомопарку! Долой эвро! Бей суперсапов! Спасай цивилизацию!»

— Бей! — дружно подхватывал зал, превращаясь в единый организм.

Внезапно на высокой сцене взметнулись споны яркого света, и из них сложилось огромное, в два человеческих роста, изображение лохматого человека в старинной одежде. Фигура приплясывала, размахивала руками и вопила неимоверно усиленным голосом: «Долой машины!» Ясенев прямо-таки физически ощущил силу единения, вытолкнувшую его из кресла. «Смерть машинам!» — стоя, ревел зал, и Ясенев лишь некоторым усилием воли заставил себя промолчать.

В ревущей толпе мелькнуло знакомое лицо, но Ясенев ничего не успел разобрать. Фантаграмма успокоилась и застыла скульптурным портретом, освещющим дальнейшее действие. А на сцену выскочил великолепно сложенный парень и под быструю ритмичную музыку стал исполнять какой-то фантастически сложный танец с натуральной кувалдой. Парень периодически наносил удары по расставленным вокруг весьма сложным приборам и под звон крошащегося стекла, пластика и металла снова уходил в конвульсионную дрожь и патетические прыжки. И каждый удар отзывался ревом зала, счастливым визгом и выражительными жестами вконец ошелевшей публики.

«Это довольно эффектно,— думал Хосе Фуэнтес, искоса следя за действиями Тэда, который, полностью слившись

с окружающей обстановкой, прыгал, кричал и размахивал руками.— Для большинства присутствующих это прекрасный способ разрядиться. Но их разрядка заходит слишком далеко. Земля тесна, и в конечном счете мы разряжаемся друг в друга. И все-таки спасибо Тэду за экскурсию — она более чем поучительна...»

Танец завершился, и фантаграмма Нэда Лудда на заднике сцены снова ожила, стала бросать в зал яростные взгляды и угрожающе размахивать руками. Его громовой голос выплеснулся из усилителей: «Скоро перед вами выступит наш знаменитый Зэт, один из творцов проклятых эвроматов, а ныне — активный деятель Общества Охраны Человека!»

«Да здравствует наше общество! — взревел зал.— Да здравствует Зэт!»

На сцену выпорхнула очаровательная девушка, а вслед за ней в облаке жуткой какофонии выехал робот весьма устрашающего вида. И началась странная и все ускоряющаяся игра. Робот преследовал девушку, делая разнообразные непристойные движения, и после каждого такого движения зал взрывался воплями негодования. Робот, словно испуганный грозным шумом, слегка притормаживал, и хореографически безупречные догонялки начинались снова.

«Забавнаядрессировка,— думал Ясенев.— Ребятам пытаются наглядно доказать, что безопасность их девиц целиком зависит от активности их выступлений против роботов-насильников... Однако я все время ухожу от главного. Где Тим? Неужели этот подлец приволок мальчишку сюда... Не пойму, в чем дело, но ощущение таково, что за мной кто-то непрерывно следит. Пусть хватают, ожидание хуже всяких событий. Лишь бы не догадались, кто я...»

Танец на сцене явно достиг кульминации — робот все точнее наезжал на девушку, а его гибкие щупальца извивались все сладострастней.

«Я никудышный сыщик,— думал Арчи Ясумото, стараясь получше спрятаться за спину, чтобы случайно обернувшийся Ясенев не заметил его.— Со стороны это должно выглядеть довольно комично. Ясенев, кажется, следует за Фуэнтесом, я — за Ясеневым. И не удивлюсь, если где-нибудь тихо сидит Стив и контролирует каждый мой жест...»

Анна почувствовала, что ноги окончательно затекли. Она с трудом поднялась и сделала несколько шагов к воде.

«Уже далеко за полдень,— думала Анна,— и облака бегут и бегут, сочетаясь во фрагменты жизни, которой

вроде и не было. Вот два облака, как два Тима, взялись за руки и мчатся к горизонту, опять-таки чему-то воображаемому, однако вполне реальному в смысле их скорого исчезновения. Если мои мальчики не вернутся к закату, можно смело уходить в это озеро, потому что мир теряет смысл, когда от тебя отрезают лучшие две трети, отрезают даже без наркоза и лишь потому, что в мире схлестнулись какие-то надчеловеческие силы и их ножи полоснули по живому телу моей семьи...»

— Анна! Анна! — донесся до нее голос, и, обернувшись, она увидела выбегающего из лесу Раджа Махагупту.

— Вот, не могу найти Игоря,— сказал Радж, подходя к ней и пытаясь отдохнуть.— Вечно всюду опаздываю...

— Ты действительно немного опоздал,— вздохнула Анна,— но мы все опоздали, если это тебя утешит...

— Мне срочно нужен Игорь. Он отключил свой индикатор.

— Игорь ушел спасать Тима, и, боюсь, они оба...

— А я боюсь, что Тима ищут не там, где он спрятан,— перебил ее Радж.— Но я вычислил это место.

На миг в глазах Анны блеснула надежда, но слабая искорка тут же погасла.

— Ты извини, Радж,— сказала она,— но я не очень-то верю твоим вычислениям. Ясенев тоже что-то сообразил, и вот его нет. И будет ужасно, если ты тоже исчезнешь из-за ошибки вашего эвромата.

— Странно,— пожал плечами Радж.— Комиссар сказал мне нечто похожее — не станет Зэт прятать Тима в собственном коттедже, он ведь не сумасшедший...— и Радж виновато улыбнулся.

«Какой уж там сумасшедший,— думал он.— Этот Зэт более чем умен, и именно поэтому он не захочет подставлять мальчишку под случайный удар митингующих неолуддитов. Но еще важнее другое — Зэт непременно станет добиваться духовной мутации Тима, трансформировать его в свой эволюционный побег, отрывать от ясеневского ствола. И именно этим — скорее этим, чем ликвидацией эвроматов и прочими глобальными авантюрами,— мстить Игорю. Мстить всей ясеневской философии, нелепым, с его точки зрения, идеям любви к иным реализациям своего Я, тем идеям, из-за которых он и порвал никогда со всем нашим делом, ибо уверовал в неизбежную неприязнь к себе как к мутанту, как к жертве этого дела. Уверовал, что мутанты всегда остаются за чертой любви, и отсюда все остальное... И быть может, именно отсюда — из глаз этой женщины берет начало его величайшая метаморфоза, прижизненное переселение души в собственную оппозицию...»

— К сожалению, Комиссар прав,— после некоторого размышления сказала Анна.— Вряд ли вашему эвромату доступны столь хитрые психологические прогнозы.

— Доступны,— вздохнул Радж,— уже доступны. Только использование таких программ пока запрещено... Ты прости, Анна, но я должен бежать...

«Все надоело,— думал Зэт.— И это выступление — к чему оно? Руководство ООЧ делает глупость, пытаясь взвинтить интерес к своим идеям и подставляя меня под удар. Хотят сохранить чистоту рук...

Грязная борьба за влияние на умы — вот что это такое. Им нет дела до Космического Молчания, их волнует лишь собственная болтовня, хотя бы планетарного масштаба. Они уверены, что при резком торможении прогресса именно их организация захватит решающие позиции в Большом Совете. Потом они вытащат свои дурацкие лозунги на площади и станут обращать в свою веру всех поголовно. Странно, что люди с мышлением средневековых миссионеров дожили до нашего времени и не просто дожили, но пытаются перехватить бразды правления.

Иногда в ужас приходишь — среди кого я оказался, чьей поддержкой пользовуюсь! Знал ли я, отступая от Ясенева, что вместо великих споров о природе Космического Молчания мне придется участвовать в дешевой клоунаде перед толпой ничего не смыслящих мальчишек? Но что поделаешь — черным героям не положено принюхиваться к тем, кто их поддерживает...

И Ясенев, пропади он пропадом, не хочет включать связь, а с Анной... С ней я просто не способен говорить, никак не способен...»

В небольшую комнату, где сидел Зэт, делая вид, что проигryвает на экране тезисы своего выступления, вбежал человек в черном комбинезоне.

— Я же просил не беспокоить меня,— нервно выкрикнул Зэт.— Через десять минут мне выходить на сцену.

— Боюсь, шеф, вы отложите свой выход,— ухмыльнулся человек.— Во-первых, передали, что суперсап доставлен в ваш дом.

Зэт вскочил с места, глаза его радостно засверкали.

«Редкая удача! — мелькнуло у него.— Я не рассчитывал, что Нодье сдастся так легко... Или какая-то ловушка?..»

— Есть и вторая приятная новость, шеф. В зале сидит парнишка, ужасно похожий на Тима Ясенева.

«Это вполне компенсирует исчезновение Ясенева-старшего,— решил Зэт.— Удачи идут косяком, надо срочно действовать. К черту все выступления! Кто бы мог поду-

мать, что в этой дрянной комнатенке в данный момент решается судьба цивилизации...»

— Парня немедленно взять, приготовить нашу капсулу,— коротко распорядился он.

И когда дверь за охранником захлопнулась, с горечью подумал:

«Судьба цивилизации... Становлюсь до противного стар и высокопарен...»

— Послушай, Комиссар,— сказал Грегори,— ты все-таки рискуешь ошибиться. Радж никогда еще не тревожил людей по пустякам...

— Вот, что, Стив,— жестко обрезал его Комиссар,— если вы с помощью эвромата так легко заглядываете в души, вас надо немедленно отдавать под суд. Твое счастье, что я ни капельки не поверил Махагупте.

— Но в результаты, которые мы получили ночью, ты охотно поверили...

Комиссар нервно ходил из угла в угол, ожидая данных с компьютеров ПСБ.

«Последняя проверка версии,— думал он,— процес-суальный кодекс, и все такое... Глупейшая траты времени — что могут наши примитивные коробки по сравнению с их эвриками? Так ради чего я должен метаться по этому паршивому павильону и буквально в двух шагах от выявленного преступника выслушивать подначки ошалевшего от бессонницы Стива?..»

— А почему же ты не выдал мне данные в духе вашего Раджа? — раздраженно спросил он вслух.— Или Махагупта единственный из вас, кто умеет по-настоящему обращаться с эвроматом?

— Я не сделал этого, и сейчас чувствую себя последним подонком,— ответил Грегори.— Радж оказался честнее... Дело в том, что получение и использование данных, которые он нам передал, категорически запрещено Советом, пока запрещено... Может быть, и я пошел бы на это, но мы были вместе, Комиссар, и никто бы не поверил, что я нарушаю закон без твоей санкции. И тогда тебе конец.

— Спасибо за заботу... Выходит, этот парень связался со мной, чтобы выпросить пару добрых браслетов? Но честное слово, я ему не поверил.

— И зря, зря не поверил. Махагупта пошел на огромный риск — в лучшем случае его могут надолго отстранить от исследовательской работы. Но ведь речь идет о жизни мальчика...

— Ты и об этом мне напоминаешь? — перебил Комиссар Стива.— Но в нашем деле приходится добиваться большего. Нужно, чтобы остались живы и мальчик, и цивилизация, к которой он принадлежит. Вот почему мы разборчивы в методах следствия, если ты до сих пор этого не понял. Тебе пора осознать, что именно исполнители закона способны учинить самые дикие беззакония, если станут действовать любой ценой в интересах одного человека или какой-то группы...

Грегори протестующе захмыкал.

— Ладно,— сказал Комиссар,— мы оба чертовски устали... И все-таки попытайся объяснить мне — популярно и в двух словах,— как вы пришли к тем опасным результатам, о которых сообщил Радж?

— Несколько лет назад мы обнаружили, что эвромат очень ловко прогнозирует поведение весьма сложных систем,— воодушевленно начал Грегори,— а потом выяснилось, что он вообще мастак по части самых разнообразных поведенческих ситуаций. Благодаря свободному и сверхбыстрому перемещению по полям аналогий, он обладает многоуровневой рефлексией, то есть моделирует поведение систем, тоже способных к прогнозированию, учитывает не только внешние реакции партнера, но и разыгрываемые им модели окружающей обстановки. Он учитывает цели и возможные средства их достижения, характерные для партнера, и даже тот факт, что он сам подвергается моделированию, что партнер обладает равномощной рефлексией... Короче говоря, ни один из имеющихся в нашей картотеке детективных сюжетов для него не проблема. Интриги старых романов и хитроумнейших современных фантастиков он щелкает за пару минут. Такое дело, Комиссар...

— Я уже догадался, что защищаю интересы той стороны, которая намерена лишить меня работы,— усмехнулся Комиссар.— В этом парадокс моей профессии — нередко приходится защищать того, кого хотелось бы хорошенко высечь. И тебя следовало бы — ты вот-вот вывихнешь мне мозги...

— Когда загораешь без дела, не грех и поболтать,— примирительно сказал Грегори.— А чего мы, собственно, загораем?

— Спроси меня о чем полегче... Я жду подтверждения нашей версии Центральным интеллектроном ПСБ. Я же не имею права ссылаться на нашиочные результаты, а тем более — на данные Раджа. За ссылку на эвромат с меня голову снимут. Впервые в жизни выдаю чужие расчеты за свою гипотезу — вот до чего я докатился, связавшись с тобой и твоими друзьями...

Четыре черных фигуры как-то сразу надвинулись на Ясенева, он почувствовал, что оторвался от кресла и движется среди криков и раскрасневшихся физиономий, а локти его сжаты словно стальными зажимами.

— Ты срочно нужен шефу,— ободряюще приговаривал один из чернокомбинезонников,— тебя удостоили большой чести, парень...

Ясумото вскочил и бросился через все препятствия, наступая на ноги, отталкиваясь от чьих-то плечей и животов. «Если его опознали,— мелькнуло у Арчи,— ему крышка. Эта толпа вполне может устроить самосуд...»

— Куда вы тащите этого парня? — закричал он как можно громче.

— Все в порядке,— удивленно обернулся один из конвоиров Ясенева.— Этот малый срочно понадобился шефу. А тебе какое дело?

— Его родители просили присмотреть за ним,— сказал Ясумото, приближаясь к конвою.— Я хотел бы отвести его домой...

— Послушай, друг,— довольно миролюбиво начал чернокомбинезонник, играющий, по-видимому, роль бригадира.— Здесь посторонним делать нечего, понял? Здесь вообще не место для маменькиных сыnek и, тем паче, для их лакеев. Так что, катись отсюда, пока цел!

«Вот это новость! — подумал Ясенев.— Даже Арчи легко выследил меня. Нужно бежать, иначе Тим останется сиротой...»

И Ясенев резко рванулся из рук конвоиров, но тут же поскользнулся и упал. К нему бросились сразу трое. Ясенев ужом скользнул в сторону, сбил пустое кресло, оттолкнулся от пола и вскочил.

«Вот и драка,— подумал Фуэнтес, поднимаясь со своего места.— В таком собрании рано или поздно начинается мордобой... Что за мальчишка? Да это же Тим Ясенев!»

— Ребята! — крикнул он своим спутникам, тоже обернувшимся на шум и толкотню в проходе.— Там похищенный сын Ясенева. Ему надо помочь!

Славчо и Тэд мгновенно бросились вслед за Фуэнтесом, а Свен лишь удивленно привстал. «Этого еще не хватало,— подумал он.— Хосе что-то померещилось. Потом выяснится, что мальчик сам сбежал к этим неолуддитам, а мы будем отдуваться за участие в драке. Однако негоже бросать ребят...» И он двинулся к месту события.

«Четверо конвоиров — полбеды,— мелькнуло у Арчи.— Хуже, что за них вступится кое-кто из этой шпаны...»

Взмахнув рукой, Ясумото метнулся к одному из конвоиров. Тот упал, как подкошенный. В прыжке Арчи удалось

достать пяткой еще одного. Но бригадир отскочил в сторону и выхватил блейзер.

«Это конец,— сообразил Ясумото.— Он стоит слишком далеко...»

Вдруг перед его глазами мелькнула тень. Это Тэд Нгамбе в отчаянном прыжке швырнул свое тело на вооруженного конвоира. Его носок всего на несколько сантиметров не дотянулся до руки с блейзером, и он рухнул на пол. Короткая вспышка... Тэд Нгамбе скorchился и затих у ног чернокомбинезонника. Славчо едва успел опуститься на колени рядом с Тэдом, как над его головой пролетело кресло, пущенное Хосе. Оно врезалось прямо в направленный на Мирова блейзер. Чернокомбинезонник схватился за руку и с искаженным лицом сполз по стенке.

Ясумото с трудом разглядел мальчика, которого два конвоира уже волокли по проходу. Он пытался пробиться, но бесполезно — к Арчи уже тянулись десятки рук. Его свалили и подмяли. Фуэнтес, вооружившись другим креслом, бросился ему на выручку. В отчаянном рывке Арчи немного высвободился и закричал:

— Хосе! Отбивай мальчишку!

Фуэнтес рванулся к мальчику, размахивая креслом, но чернокомбинезонники были уже далеко, а в проход вдоль стены выскакивали все новые и новые люди. Конвоир, которого Арчи вывел из строя первым, тоже пришел в себя и исхитрился дать Фуэнтесу резкую подножку. Хосе не поздоровилось бы — охранник бросился его душить. Но подоспел Свен Олафссон, который неспешно и с тяжким вздохом оторвал конвоира от пола и зашвырнул его в ряды метра за три от поля боя.

Вдруг возле входа в зал кто-то надрывно крикнул:

— Треугольники! Спасайся!

И в это время погас свет...

Тим пришел в себя от того, что защитный слой на одной из стенок его глухой камеры сдвинулся, и там замерцал большой экран. Как всегда, диктор официального канала давал важнейшую текущую информацию:

— ...к сожалению, пока не обнаружен. Преступники, на след которых напала ПСБ, оказали вооруженное сопротивление. Просьба ко всем — немедленно прекратить передвижения в квадратах с координатами...

«Кажется, из-за меня начинается целая война,— думал Тим, растирая виски.— В любой момент Зэт и его люди способны меня прикончить, и чем активней действия ПСБ, тем вероятней такой результат. Странно... Оказывается, можно вот так валяться в наглухо запертой камере и спо-

койно размышлять о собственной гибели. Никогда бы не поверил...»

— Как сообщил Президент Совета, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о реализации третьей космогонической программы. Программа «Астра» включает постройку трех межзвездных станций. Население этих станций вступит на особые ветви эволюции, и примерно через полстолетия наша планета впервые станет членом Космического Клуба межзвездных масштабов. «Мы надеемся также,— заявил Президент,— что данная программа принесет много неожиданного, гораздо больше, чем принесло освоение планетного кольца Солнечной системы. Возможно, она позволит реализовать простейший вариант транспортного контакта с внеземными цивилизациями, во всяком случае — с развитыми формами внеземной жизни». Действительно, главное — в неожиданностях! Мы подробней прокомментируем программу «Астра» в нашей специальной передаче, назначенной на завтра...

«Посмотреть бы эту передачу,— думал Тим.— А почему бы мне не попроситься в один из межзвездных городков? Конечно, долгий полет — занудливое дело, зато есть шанс увидеть нечто невероятное. Надо выяснить, почему отец и Нодье — каждый со своей колокольни, но чуть ли не в один голос — против немедленной реализации «Астры». Отец считает, что межзвездным станциям не обойтись без эвроматов новых поколений, а Нодье уверен, что вся программа под силу только суперсапам. По-моему, они там, на станциях, сами прекрасно справились бы с выбором собственной линии эволюции... Вот на «Трансплутоне» совершенно автономно создали настоящего симбиота, и у нас пока не могут воспроизвести. Конечно, там было безвыходное положение — мозговая травма, необходимость вживить интеллектуальные пленки... Но ведь здорово иметь в голове компьютер, полностью обеспечивающий энергией организма, чего б я только не дал за такую операцию — в три раза выше уровень обучаемости! Это же школу проскочишь и не оглянешься!.. Ладно, посмотрим передачу...»

— С трансплутоновой станции сообщают...

Герхард Вайс перепрограммировал свою капсулу на форсированный перехват. Расстояние между ней и серебристо-голубой капсулой преступников потихоньку сокращалось.

— Что-то на душе у меня неспокойно,— сказал Лао Шань, который разыгрывал на дисплее варианты предстоящей операции.— Эти террористы слишком нагло себя ведут, они приготовили нам какой-то сюрприз...

— Что поделаешь,— вздохнул Вайс.— После провала операции на этом самом митинге нам придется попотеть. По-моему, Комиссар не ожидал, что мальчишка окажется именно там. Иначе Зэт давно загорал бы на допросе.

— Да, дурацкое положение,— кивнул ему Лао Шань.— И главное — у нас опять связаны руки, мы, как всегда, действуем со связанными руками... И не можем ответить ударом на удар. Я уже целый год подумываю, что такая работа не по мне. По-моему, террорист должен знать, что при малейшей возможности он будет уничтожен — один или вместе со своей жертвой. Притом зверски уничтожен. Тогда он задумался бы — стоит ли рисковать...

Герхард пожал плечами и промолчал.

«Пожалуй, я опять попаду домой после ужина,— думал он,— и Марго станет душить меня вздохами. Она покормит меня, окропит слезами, потом поведет по детским спальням и будет по очереди тыкать носом в четыре посапывающие головки и заглядывать мне в глаза — не скользнет ли там искра раскаяния... Ну, а если б у нас похитили — тьфу-тьфу-тьфу! — если бы у нас с ней похитили сынишку, даже не единственного, а одного из четырех, Марго зубами разгрызла бы капсулу Зэта — я ее знаю...»

— Честное слово, сбегу я из этой лавочки,— продолжал Лао Шань.— Моя Кэт так мне и сказала — либо я, либо твоя ПСБ, знаю я, как трясутся их жены! Представляешь, она отсрочила нашу свадьбу...

— По-моему, ты просто устал, Лао,— сказал Вайс.— Вот поймаем этих мерзавцев, и каждый получит по хорошему отпуску. Я, например, должен заняться младшим — у него весь игровой комплект вышел из строя, и он ждет не дождется, когда мы с ним вдвоем покопаемся в схемах...

— Это хорошо,— улыбнулся Лао.— Но что мне делать с Кэт?

— Мне кажется, она будет хорошей женой,— ответил Вайс.— Видишь ли, Лао, моя Марго до самой свадьбы рекламировала меня как героя, самого бравого парня в ПСБ, и она даже не заикалась об опасностях моей службы. Но, когда пошли дети, она сколотила целую команду домашних террористов — они загоняют меня в угол своей любовью и преданностью...

— Так у меня получится еще хуже,— расстроился Лао Шань.

— Как раз нет! — сказал Вайс.— Твоя Кэт выговаривается сейчас, а потом будет сопреживать твои приключения. А это очень важно, чтобы кто-нибудь старался разделить твои трудности. Понимаешь? Не затыкался тебе своими страхами — у нас и собственных хватает! — а элементарно старался придать тебе силы... Так-то!

— Тебе легко говорить... — пробурчал Лао и, внимательно взглянув на приборы, сказал: — Пора идти на захват.

— По-моему, пора, — ответил Вайс и нажал синюю кнопку.

Кapsула ПСБ рванулась вперед, используя ракетную катапульту. Расстояние стало заметно сокращаться, вот-вот автоматически включится поле захвата, и операция будет успешно завершена. Но в уходящей капсуле раскрылась бортовая щель и мощный стационарный блейзер полоснул прямо по кабине с красным треугольником.

«Идиоты! — успел подумать Лао Шань. — Они же сожгут нас...»

И это была последняя его мысль. А перед глазами Вайса лишь на мгновение возникло лицо Марго, зашедшейся в страшном крике. Капсула ПСБ вспыхнула и ярким болидом врезалась в верхушки деревьев.

5

Жан Нодье сидел в своем глубоком кресле, закрыв лицо руками.

«Старость — вовсе не возраст, а состояние крушения, — думал он. — В тот момент, когда у человека отбирают будущее, он стареет мгновенно и бесповоротно. Ему любезно сохраняют биологическое существование и клейкую кучку воспоминаний, и он зарывается в нее все глубже, пока не задохнется. А потом родственники и друзья с почтительно-скорбными физиономиями вынуждены кланяться его фантаграмме и кучке пепла...»

Мои любимые ученики, в основном научные внуки и правнуки, сделают из этого настоящую ритуальную службу. Они будут клясться в верности моим идеалам и радоваться втайне, что я больше не препятствую их собственным начинаниям. Хотя я никому из них никогда и не препятствовал, они все равно — пусть сначала бессознательно — возрадуются свободе. Сожжение старого вождя всегда дарило окружающим сильнейшую иллюзию свободы, хотя подчас на костре догорали вместе с ним ее же последние крохи...

И того единственного, кто мог бы стать подлинным продолжателем моего дела, я, не задумываясь, бросил в самое пекло. Если он не использует свои способности, его попросту прикончат, если использует — станет изгоем, его непременно объянят социально опасным и упрячут подальше. Значит, мы квиты, Игорь. Мы оба рискуем своими сыновьями. Именно так, потому что Лямбда — мой истинный сын, ему принадлежит реальное будущее. Потому что я нянчил его не просто пухленьkim розовым комочком, а еще бесформенной клеткой, пусть не моей, но разве

в этом дело... Почти как в старом сентиментальном романе — похоже, Игорь Павлович, что мы, старые противники, должны будем побрататься на крови собственных сыновей, на той жидкости, которая так прочно цементирует фундамент и верхние этажи нашей безудержно прогрессирующей цивилизации. Еще немного, и слезу пущу от своей патетики...»

Нодье услыхал какой-то шум у двери своего кабинета и сказал, не опуская рук:

— Мари, меня нет ни для кого, кроме...

— Но для меня вы есть! — громко сказал Вит Крутогоров.

Нодье вздрогнул. Он поднял глаза и увидел растерянную Мари и Крутогорова, который уже успел пересечь кабинет и теперь устраивался в кресле напротив.

— Я пыталась его остановить,— испуганно сказала Мари,— но он размахивал каким-то страшным предметом и говорил, что сейчас взорвет наш Центр.

— Именно так,— подтвердил Крутогоров.— Взорву ко всем чертям! Но насчет предмета вы не беспокойтесь, это обычный карманный фантамат, только оригинальной формы. Я дарю вам его на память, чтобы вы не думали, что это блейзер или бомба...

И он протянул аппарат Мари.

— Вы идите,— спокойно сказал девушке Нодье и, обратившись к Крутогорову, добавил.— Знаете ли, молодой человек, мне до смерти надоел этот нескончаемый вестерн. Сначала у вашего шефа крадут сына, потом какие-то недоумки начинают намекать, что похищение организовано мною, и наконец врываетесь вы и пугаете моего секретаря чем-то бомбообразным... Что вы себе позволяете?

Крутогоров дождался, пока Мари исчезла за дверью, и сказал:

— В том-то и дело, что я не хочу сплетен. Я хочу знать, где мальчик, и я уверен, что обратился по адресу.

— По адресу в том смысле, что теперь я знаю, где прячут Тима,— ответил Нодье.— Он в доме бывшего сотрудника Эвроцентра, бывшего ясеневского друга, который ныне называет себя Зэтом и проповедует какую-то чушь. И если это единственное, что вас интересует...

— Нет, не единственное,— перебил его Крутогоров.— Есть и второй вопрос, поскольку я никак не пойму, откуда вы узнали о результате Махагупты?

— О каком результате? — удивился Нодье.

— Махагупта утверждает, что с помощью эвромата он рассчитал вероятнейшее местонахождение Тима,— сказал Крутогоров.— Мы ему не очень-то поверили... Но откуда об этом узнали вы?

Нодье усмехнулся и потер виски.

— Зря вы ему не поверили. Разумеется, я ничего не знал о его результатах, но важно, что наши предсказания сходятся.

— Вы хотите сказать, что ваш суперсап выдал тот же прогноз? Выходит, вы действительно не имеете отношения к похищению Тима?

— Вы неплохой парень, Вит,— через силу усмехнулся Нодье, чувствуя надвигающийся приступ головной боли.— Но вы, простите, никудышный актер. Этот вопрос следовало задать сразу, и я сразу ответил бы — нет, не имею! И очень хочу иметь отношение к спасению Тима, если оно еще возможно, если Лямбда и Тим...

И Нодье вдруг умолк, безнадежно махнув рукой. Крутогоров на цыпочках вышел из кабинета.

Зэт снял повязку с глаз Ясенева.

— Слушай, Ник или как ты там зовешься,— сказал он.— Мы не сделаем тебе ничего плохого, если ты будешь вести себя разумно. Сейчас ты войдешь в нишу за этой стеной и увидишь парня — вы похожи, как две капли воды. Ты посочувствуешь ему и обязательно поменяешься одеждой — дескать, тебя вот-вот выпустят и ты, как благородный человек, хочешь его спасти... На всю операцию тебе дается каких-то полчаса. Разумеется, когда сюда придут мои люди, они выпустят именно тебя — в его одежду, и далее ты будешь играть роль Тима Ясенева, понятно?

— Так у вас сидит этот знаменитый Тим? — с вполне естественной дрожью в голосе спросил Игорь Павлович.

— Не знаю, чем так уж знаменит этот мальчишка,— жалко ответил Зэт.— Знаменит, пожалуй, его отец, но тебе-то какое дело?

— А что будет с ним? — снова сыграл в наивность Ясенев.

«Поразительны не метаморфозы с помощью вживленного микроэвромата,— думал он.— Поразительно то, что способен делать с собой человек такого типа. Когда-то я мог положиться на него во всем, мы не имели друг от друга даже небольших тайн...»

Зэт долго щурился, разглядывая Ясенева. Потом сказал:

— Вот что, парень, не задавай лишних вопросов. Речь идет о твоей жизни. Ты должен выполнить все в точности, а Тим — моя забота. А сейчас я спешу.

«Ты очень спешишь,— подумал Ясенев.— Тебя торопит ПСБ, идущая по твоим следам. Это понятно. Хуже другое — сейчас я попаду к своему сыну и не смогу сказать ему ни единого слова, потому что кто-нибудь из твоих людей будет подслушивать каждый шорох в нашей камере, следить за каждым движением...»

Он не успел додумать. Часть стены отъехала, и сильная рука Зэта втолкнула его в темную нишу, где сразу же вспыхнул ослепительный свет.

— Такова наша жизнь, Стив,— сказал Комиссар, и лицо его пошло красными пятнами.— Эти мерзавцы сожгли таких отличных парней, как Гер Вайс и Лао Шань, а мы не можем ответить им ни единым залпом. Мы отвечаем им философским тезисом, согласно которому террор не пресекается новым террором. Они принимают к сведению наш ответ и преспокойно готовят новые убийства...

— Но здесь мы сами сплоховали,— перебил его Грегори.— Небольшая засада у дома Зэта легко решила бы проблему, возможно вообще без жертв. Один Радж догадался устроить слежку в центре преступления.

— Однако какой ценой! Сегодня запрещенной игрой с эвроматом воспользовался Махагута, воспользовался во имя благородной цели — найти похищенного. Но завтра те же приемы применит Зэт или кто-то зэтообразный, причем для расчета поведения жертвы. Понимаешь, ты, ученая голова?

— Кончай читать мне свои детские проповеди! — взвинтился Грегори.— Для подлости и шантажа не нужен эвромат. В прошлом веке для этого вполне хватало предупредительных автоматных очередей и тех же похищений без предварительного компьютерного планирования!

— Ладно, не пыли... Просто я дьявольски обозлен. У Вайса осталось четверо малышей, а Лао собирался уходить из ПСБ. Он даже выдвинул свой тезис — безответность неизбежно перерастает в безответственность. И пытался доказать его как строгую социологическую теорему... Он считал, что террористу нельзя оставлять ни одного шанса...

— Не думаю, что наше общество может позволить себе такую роскошь, как разведение бесшансовых людей,— усмехнулся Грегори.— Они — взрывчатка!

— Должно быть, так,— вздохнул Комиссар.— Я не разделяю его точку зрения, но он заплатил за нее жизнью, а это огромная цена. И мы с нашей размягченной философией тоже в чем-то не правы, если позволяем гореть таким парням, как Гер и Лао. ПСБ долго еще не останется без работы...

Грегори осмотрелся. Их капсула шла на снижение, едва не срезая верхушки деревьев.

— Общество статично,— сказал он,— и всегда найдутся любопытствующие, которым в круге закона тесно и скучно, которых более всего мучает вопрос — а не лучше ли там, за оградой? Так что не бойся за свою работу...

— Ты холодно рассуждаешь, Стив,— ответил Комиссар.— А мне не до теорий, мне каждый раз по-черному болят наши потери, и я не могу работать без веры в будущее, лишенное целей, к которым надо идти по трупам... Быть может, такая вера покажется тебе стариковской блажью, но без нее я не выдержу встречи с Марго и с детьми Гера...

Они замолчали. Капсула Комиссара во главе небольшой эскадрильи ПСБ приближалась к цели.

Суперсапа Лямбда ввели в большой холл, и Зэт сразу перешел к делу:

— Я рад, что Нодье поступил разумно, но разработок по твоей серии я не вижу. Я не слышал также и его отречения. Как это понимать?

— Очень просто,— ответил Лямбда.— Сначала — Тим! Я уполномочен начать переговоры только в том случае, если Тим, здоровый и свободный, окажется за порогом этого дома.

— Странные разговорчики,— усмехнулся Зэт.— Твоему шефу легко играть жизнью чужого сына... Но условия диктую исключительно я!

— Нужны некоторые гарантии,— спокойно сказал Лямбда.— Вы понимаете, что честное слово террориста — не тот залог...

— Ты тоже считаешь меня террористом? — быстро спросил Зэт.

— Считаю,— ответил Лямбда.— И даже рассчитываю... И этот расчет приводит к ужасной картине.

— Ты очень большой умник,— заулыбался Зэт.— Но ты еще и великий дурак. Если не ошибаюсь, сейчас именно ты ведешь работы по подготовке серии Мю? Можешь не отвечать, я и так знаю, что стариашка Жан на создание столь сложных индивидов уже не способен. Так вот, предположим, ты в рекордные сроки сделаешь эту серию. И сразу же вы, нынешняя вершина суперсапов, окажетесь в роли умственно второсортных, каковыми теперь становятся обычные люди. Только нас много, нас миллиарды, а вас — горсточка... И вы растворитесь в истории, как неудачный вид, случайно мелькнувший между великими сапи и целой каруселью всяких суперов, вас ждет темный и пыльный эволюционный тупик, деградация и вымирание... Ты все еще считаешь меня террористом?

Лямбда коротко кивнул.

— Что ж,— продолжал Зэт,— буду краток. Переходи на мою сторону. Тебе не придется забивать мозги проблемой творения Мю — мы вообще наложим табу на все серии сложнее твоей. А сапи пусть спокойно уйдут в прош-

лое, мы не станем мучить их в хомопарках. Останутся превосходные фантаграммы и подробные записи их генетических структур в компьютерной памяти — этого вполне хватит для антропологии... Соглашайся, Лямбда, ибо за какие-то считанные тысячелетия вы превратите огромные участки Галактики в храм чудес, воздвигнете себе неуничтожимый памятник и тогда потихоньку двинетесь дальше — от Мю до Омеги. Но каждому надо хоть немного пожить, ощутить прелест хотя бы иллюзорной вечности. Мы, обычные люди, это ощутили. Мы прошли сквозь века веры в бессмертие своего вида. Почему бы и вам не хлебнуть счастья?

— От вашего счастья нетрудно с ума сойти,— сказал Лямбда.— Мы, суперсапы, составим поколения в новом смысле, и почему я должен завидовать продвинутости собственных потомков, тем, в кого вложена частица моего разума? Отцовская зависть и сыновняя неблагодарность испокон веков порождали кошмарные пожары. Но нельзя разжигать их в масштабах глобальной эволюции...

— Хорошо, поговорим по-другому,— перебил его Зэт.— Видишь ли, ты не только представитель лидирующего вида, ты еще и просто человек, так сказать, индивид. Между тобой и социальным организмом, между твоей жизнью и эволюцией твоего вида в целом — огромный зазор. Принимая на свои плечи видовую и социальную нормы, безоговорочно разделяя цели и средства процветания своего социоида, ты берешь непосильный груз. Индивид не сопоставим с социоидом ни по срокам жизни, ни по защищенности, ни по мировосприятию. Он становится песчинкой в игре колossalно превосходящих его сил. И по-моему, плохо, если он еще и послушная песчинка. Он просто растворяется в массе себе подобных — вроде, и не жил. Понимаешь? Да ты-то все понимаешь, все чувствуешь лучше меня. Вот и докажи, что ты не просто песчинка...

— Сейчас вы предложите мне роль планетарного диктатора, верно? — еле заметно усмехнулся Лямбда.— Начинается с бунтующей песчинки, а кончается гранитным пьедесталом для диктатора, состоящим из тех же песчинок, щедро сцементированных кровью.

— Не хотелось бы тебя пугать,— устало произнес Зэт,— но, боюсь, у меня нет выбора...

Тим, нахохлившись, сидел в углу и жмурился от яркого света и внезапно оборвавшегося одиночества. У Ясенева ёкнуло сердце.

— Ты кто? — спросил Тим, протирая глаза.

— Да вот, схватили... — неопределенно протянул Ясенев. — По-моему, мы здорово похожи.

— Похожи, — сказал Тим. — Настолько похожи, что я даже могу угадать, зачем тебя прислали. Ты должен выведать у меня семейные секреты, а потом эти гады расплатятся тобою с моим отцом. Я прав?

— Хочешь еще один вариант? — поинтересовался Ясенев. — А вдруг ты только выдаешь себя за Тима Ясенева, и они проверяют...

— Не выдумывай, — оборвал его Тим. — Они прекрасно знают, кто есть кто. Похищали-то именно меня...

— Ну и что? Утащили какого-то мальчишку, шатающегося у лесного озера. Он полдня крутил популярную фантпрограмму про Аля и Кэттля, потом получил взбучку от отца и пошел проветриться. Тут его и схватили.

— А откуда ты знаешь про Кэттля? Хотя, конечно, они следили за каждым моим шагом, и все тебе рассказали...

— Даже про несделанный реферат о луддитах, — усмехнулся Ясенев. — Как тебе, кстати, экспериментальная история? Как критики из ООЧ?

— Теперь не знаю, — краснея, пробурчал Тим. — К ним затесалась кучка негодяев, способных на все. Но тебе-то что до этого?

— Послушай, Тим, — твердо сказал Ясенев, — наше дело дрянь. Возможно, ты последний, кто видит меня живым, а возможно — наоборот. Бывают ситуации, в которых просто некогда злиться друг на друга.

— А кто ты, собственно, такой?

— Мое имя Ник, если тебя это устраивает. И я хочу тебе помочь.

— Но ведь ты пришел сюда с ведома этого типа, испытывающего удовольствие от своих идиотских метаморфоз.

— Не уверен, что он испытывает одно только удовольствие...

— Ага! Ты его защищаешь! Я тебя окончательно раскусил. И не пытайся ничего выведать...

— Ты чего расшумелся? — повысил голос Ясенев и тут же поймал себя на мысли, что говорит привычным отцовским тоном. — Я не собираюсь ни о чем расспрашивать, даже о летающем крокодиле, который кипятит по утрам озеро.

— О крокодиле? — изумился Тим, и глаза его совершенно округлились.

Это была их с отцом глубочайшая тайна, совместная фантазия, творимая на протяжении многих лет. Огромный летающий крокодил заваривал себе утренний чай из листьев и, веток, и густой туман был тем паром, который так часто поднимался над чашкой озера...

— Не может быть,— прошептал Тим, и Ясенев посочувствовал тому, незримому и подслушивающему.

— Представь на момент, что происходит именно то, чего не может быть,— сказал он вслух.— И еще вообрази, что ты вместе с одним совсем взрослым человеком пытаешься засечь ночной визит крокодила...

О, это была целая эпопея! Семилетний Тим потребовал, чтобы на ночь в его спальню устанавливали чувствительную аппаратуру,— в нем прорезался начинающий экспериментатор. Ясенев прибег тогда к небольшой мистификации — камера сняла какие-то грозные колеблющиеся тени, а Стив Грегори любезно согласился надиктовать на пленку целое «послание крокодила». Ну, а вскоре маленького Тима подпустили к фантамату, и крокодил долгое время числился среди его ближайших друзей.

— Так вот,— продолжал Игорь Павлович,— тем же способом подслушивают и подсматривают не только крокодилов. Понимаешь?

— Понимаю,— прошептал Тим, и глаза его заблестели. Ясеневу показалось, что мальчик сейчас же бросится ему на шею, но Тим удержался.

— Значит, мы договорились,— сказал Ясенев как можно равнодушней.— Теперь я буду Тимом, а ты — Ником Суздалевым. И давай меняться одеждой. Через каких-то полчаса ты окажешься на свободе.

Тим автоматически стал стягивать куртку. Но тут же застыл.

— Нет! — сказал он.— Так не пойдет! Я тебя понимаю, но ни за что...

— Кончай спорить! — прикрикнул на него Ясенев.— Ты же знаешь, как крокодилы меняются кожей.

Это всплыло тоже из той сказочной эпохи, когда летающего крокодила заставляли меняться кожей с крокодилом танцующим. Обмен состоялся лишь понарошку, крокодилы лишь перемигнулись — кто их там различит... Но эта операция спасла жизнь обоим, потому что самодур-дракон приказал танцору летать, а летуну — танцевать...

— Хорошо,— сказал Тим,— так я согласен. Но я еще хочу спросить... Неужели метаморфозы это правда? Неужели ты... неужели эти эвроматчики зашли так далеко?

— Об этом ты расспросишь на досуге своего отца,— ответил Ясенев, громко пыхтя от воображаемого переодевания.— Говорят, он кое-что смыслит в этих самых эвроматах. А я плевать на них хотел... Кстати, курточка твоя мне ужасно нравится...

«Почему он никогда не приходил ко мне вот так — мальчишкой? — думал Тим.— А ведь мы чуть не подрались... Но главное — я и сейчас его не пойму, он как-то хитро отводит от меня удар, хоть мы и не поменялись одеждой. Но как?..»

— Что ж, твоё дело,— сказал Зэт.— Я хотел помочь тебе, но, видать, права старая присказка, что ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Сейчас сюда приведут мальчишку. Ты немедленно свяжешься с Нодье и передашь ему мои условия. И пожалуй, попрощаешься с ним...

Зэт отдал короткий приказ по индиканалу. В холл сразу вбежали чернокомбинезонники, равномерно оцепили его и вытащили блейзеры.

— Как видишь, я высоко ценю тебя и твои феноминальные способности,— усмехнулся Зэт.— Имей в виду, все аппараты на боевом взводе, и мои парни могут неверно истолковать любое твое движение.

Ввели Тима.

— Итак, перед тобой подлинный Тим Ясенев,— тоном провинциального конферансье сообщил Зэт.— Он абсолютно невредим, думаю, он даже слегка отдохнул от школьной мороки. Теперь выходи на связь с Нодье!

«Ладно,— подумал Лямбда, ощущая знакомое покалывание в висках.— Так тому и быть. Предельно неаггрессивное творение старины Жана проведет свою первую открытую демонстрацию отнюдь не в гиперментальной сфере. Будет почти обычная драка в стиле дешевых фантпрограмм. Обидный парадокс, но что поделаешь... Боюсь, что для этой своры пятикратного ускорения времени окажется маловато. Кто-нибудь успеет выстрелить. Для Мю нужно предусмотреть хотя бы двадцатикратное ускорение...»

Он ждал целую вечность, пока чернокомбинезонник приближался к нему с протянутой рукой, в которой тускло поблескивал передатчик.

И вдруг мощный импульс страха ударили по пространству холла. В тот же миг Лямбда метнулся на пол, успев выбить блейзер из рук приблизившегося охранника. Резким толчком он отшвырнул Тима прямо к креслу, на котором сидел Зэт. Чернокомбинезонники стали корчиться и оседать — как в замедленном кадре. Лишь один из них успел пустить луч и попал в своего коллегу. Сознание Тима почти сразу вырубилось — словно вся Вселенная склонулась, расщепив на атомы его мозг.

Зэт мгновенно оценил ситуацию. Волна страха лишь слегка коснулась его, но не достигла цели, остановленная эвроблокировкой. «Немедленно бежать,— мелькнуло у него.— Все к черту, и бежать! Противно, но меня спасает именно трижды проклятый мною эвромат...»

Лямбда схватил Тима, взвалил на плечи и бросился к выходу. «В любой момент могут поднять стрельбу люди из внешней охраны,— думал он.— Теперь надо поспеть к капсуле Зета...»

Зэт, выбитый из кресла, валялся на полу, ощупывая шишку на затылке и пытаясь совладать с приступами тошноты — мутило от воспоминаний о только что лизнувшей его волне страха. Он с трудом встал на ноги и поплелся к ангару, где в дальнем углу стояла замаскированная капсула, помеченная красным треугольником,— пожалуй, единственное средство скрыться от погони.

«Будет здорово, если пээсбэшники сожгут этих недоумков, большого и малого,— думал он.— Ради этого и моей голубой капсулы не жалко...»

...ухожу, потому что не в силах выдержать той бури, которая разразится в результате расследования, диктовал Нодье.

Я счастлив, что суперсап Лямбда пошел на помощь Тиму Ясеневу, пошел совершенно добровольно и с большим риском для жизни. Одно это доказывает возможность существования ментальных поколений разного уровня. Но мне лучше, чем кому-либо иному, известны средства, которые способен применить Лямбда. Мне вполне понятно и то жуткое впечатление, которое эти средства произведут — ими наносится жестокий удар по системе межличностных отношений, по естественному человеческому доверию, наконец, по самой идее прогрессивной эволюции. Людям может показаться, что их лучшие творения роют могилу собственным творцам — я имею в виду эвроматы и, конечно же, своих суперсапов.

Однако ошибочно думать, что процесс завоевания гиперментаильных высот, то есть создания новых поколений суперсапов и мощных эвросистем, можно чем-то остановить. Можно слегка притормозить его в том или ином направлении, но потом все равно придется уходить вперед...

Каждое крупное открытие чревато применением в военно-террористических целях. Такова судьба дубины и колеса, лука и пороха, лазера и уранового котла, такова судьба ракет и сверхскоростных компьютеров, а ныне — всей гиперменталистики. Новая ступенька постижения мира всегда оказывается скользкой — пока на нее не ступят первопроходцы, ее просто некому очищать от льда и грязи древних предрассудков. В иные времена думалось, что дворнице обязанности исполняет лично Всевышний, заодно выстилающий лестницу познания бархатистыми коврами откровений и освещаящий ее лучами абсолютной истины. Но мы не пришли ни к каким горным вершинам и остались один на один с очень сложным будущим — ступить в него страшновато, а двинуться назад, к пещерам и каменным топорам, тоже как-то неудобно. Трудность

в том, что прогрессивное будущее всегда сложнее наших модельных представлений, и, выстраивая его как реальность во многом вслепую, мы рискуем соорудить опаснейший капкан планетарного, а то и космического масштаба. Но важно понять, что зубьями капкана служат именно наши предрассудки, а не достижения.

Я хочу отнести опасения по поводу немедленной смены лидирующего вида. Суперсапы — прежде всего, разведчики будущего. Ради этого станут создаваться все новые и новые индивиды и целые популяции, и с их помощью мы колоссально раздвинем горизонты. Думаю, что постепенно все человечество станет на путь перманентной реконструкции мозга, но разведка, как ее иногда называют — гиперментальный авангард, останется навсегда. И каждый, знающий реальную историю, согласится, что фактически авангард такого рода существовал и в иных тысячелетиях. Представьте, каким суперсапом, а по тем меркам — богом выглядел Пифагор в глазах забитого, диковатого раба или простого сицилийского рыбака своих времен...

Разумеется, ни те древние века, ни века совсем недавние не имели доступа к современным методам создания авангарда. Все решалось более или менее случайным совпадением трех факторов — хорошей наследственности, высокого образовательного уровня и, конечно, чёткой работы социального усилителя, способного при благоприятном стечении обстоятельств отобрать действительно талантливые идеи, сделать их общезначимостью, руководством к действию. При нынешнем темпе наступления будущего мы вынуждены максимально использовать и лучшие достижения генетики и интеллектроники — у нас нет иного пути к дальнему футуровидению, а без него наше будущее может оказаться эстрадной пародией на великое и очень трудное прошлое, планетарной комнатой смеха, которую мы по своей близорукости примем за церемониальный зеркальный зал для восторженного самолюбования...

И последнее. Я отвергаю любые обвинения в преднамеренном создании нового оружия. Это так же нелепо, как обвинять, скажем, Циолковского в бомбардировках Лондона ракетами Фау. Применению всякого открытия надо учиться, и такое обучение никогда не проходит безболезненно. Цивилизацию не подвергнешь общему наркозу ради обезболивания родовых схваток — тех, в которых рождается наше завтра.

Я ухожу несломленным, моя совесть чиста. Хочу уйти лишь от убийственно долгой следственной процедуры, дабы не видеть добровольного мученичества сотрудников ПСБ, пытающихся юридически определить правомерность моих замыслов и экспериментов. Моя работа в любом

случае будет прервана, а возраст не позволяет надеяться на ее возобновление. Я оставил миру все, что мог, и не желаю добавлять к этому кучу нелепых оправданий. Теперь я хочу дождаться лишь одного — сигнала от Лямбда. Его победа в схватке с Зэтом — последнее, о чем мне хотелось бы услышать. Прощайте!

Нодье отключил аппарат, достал из кармана маленький блейзер и положил его на стол прямо перед собой. Прошло несколько минут, и он, словно загипнотизированный спокойным блеском оружия и полным освобождением от суеты, почувствовал, что соскальзывает в глубокий и, быть может, целительный сон...

6

Тим с трудом открыл глаза. Рядом сидел этот странный человек, к которому его только что привели, и оба они находились уже не в коттедже Зета, а в капсуле, очень быстро уносящейся на закат.

«До чего ж сумасшедший день», — подумал Тим, с радостью осознавая, что нет больше вязкой камеры, что безнадежность положения как-то сразу поглотилась открытым пространством наступающего вечера.

— Куда мы летим? — спросил он и обрадовался звукам собственного голоса. — Ты сотрудник ПСБ, да?

— Я отвезу тебя домой, — ответил Лямбда, — и там с тобой обязательно встретятся люди из ПСБ. Ты расскажешь им про все свои приключения. А я — сотрудник Нодье, суперсап серии Лямбда. Разумеется, у меня есть настоящее имя и родители, но все это пока не разглашается — вплоть до решения Большого Совета, который на днях будет обсуждать наши исследования. Ты в курсе?

— Да, конечно, — ответил Тим, и вдруг слабое подобие волны страха, испытанного им совсем недавно, просочилось из памяти и отозвалось легким приступом тошноты. — А как тебе удалось вытащить нас оттуда?

Кольцо введенных блейзеров отчетливо всплыло перед Тимом, и он еще раз пережил страх — мелкий и противный — перед этим красноречивым кольцом, желание распластаться на полу, вжаться в него, стать незаметным.

— Удалось... так вот и удалось, — сказал суперсап. — Но мне еще изрядно достанется за ту сцену. В сущности, я не имел права спасать тебя, используя свое суггестивное поле. В этом смысле, Тим, я подхожу под действие закона о бесконтрольном применении суггестивных генераторов, и меня могут конфисковать у Нодье. Его тоже ждут крупные неприятности.

— Как это конфисковать? Ты же человек!

— Спасибо... Но внушение, особенно прямое действие на мозг — и вправду опаснейшее оружие. Я слышал, ты увлекаешься историей. Там ты найдешь много примеров внушения — один страшнее другого...

Тим промолчал. Ему хотелось поспорить, хотелось сказать, что тут — нечто совсем иное... Но его все сильней охватывала тревога за что-то, выпавшее из этого прекрасного открытого мира, оставшееся в стенах — то ли памяти, то ли того странного дома... Лицо Ника Суздалева вдруг ярко высветилось в сознании Тима, словно надвигающийся горизонт стал зеркалом, внезапно возникшим в вязкой и темной камере.

— Назад! — закричал Тим.— Там мой отец, там осталася мой отец!

«Молодчина,— подумал Лямбда.— Он довольно быстро пришел в себя».

— Не надо,— сказал он вслух,— успокойся. Я уверен, что ПСБ давно освободила твоего отца. С ним не могло случиться ничего плохого — даже мой трюк на него не подействовал, хотя он находился совсем рядом, за стенкой. Когда-нибудь он расскажет тебе, почему так вышло. Хуже другое, Тим,— по-моему, нам не дадут добраться до твоего дома.

И он показал на обзорный экран. Только теперь Тим заметил, что их преследует целых три капсулы ПСБ.

— Сейчас они пойдут на захват,— сказал Лямбда.— Будем садиться.

— Лучше сразу домой! Я успокою маму — представляешь, как она переживает... И она будет рада познакомиться с тобой.

— Я как-нибудь потом загляну к тебе в гости, а теперь идем на посадку. К тебе одна просьба, Тим. Сразу же, как сумеешь, свяжись с Жаном Нодье по индиканалу. Сообщи ему, что все в порядке. Я несколько раз пытался выйти на связь, но не смог — похоже, он отдыхает. И обязательно скажи ему, что мне жизненно важно обсудить с ним все произшедшее. Это очень важно, Тим, а мне, вероятно, не сразу предоставится такая возможность... Договорились?

Серебристо-голубая капсула рванулась к земле, а вслед за ней с небольшими интервалами пошли на посадку три машины с красными треугольниками на борту. Тим и суперсап выбрались на траву, и через пару минут их окружили возбужденные и явно довольные мирным финишем сотрудники ПСБ. Лямбда с отрешенным видом присел на небольшой валун и застыл, не реагируя на вопросы и суetu.

Тима сразу же отправили домой, твердо пообещав, что отец будет ждать его именно там. Уже в воздухе Тим

вспомнил о поручении, но канал Нодье не отзывался, и предчувствие близкой встречи с мамой как-то затмило тревожность этого молчания. И мамин канал помалкивал, и это тревожило Тима, но с другой стороны — оно к лучшему, думалось ему, потому что получится грандиозный сюрприз, такой, которого не имел еще никто из Ясеневых...

И еще Тим думал о том, что мир вокруг совсем не изменился — в нем стоят те же деревья, текут те же реки и то же огромное красное солнце уходит на покой... и добродушно улыбаются рядом с ним храбрые ребята из ПСБ, блестящие и без потерь завершившие поимку преступников... и где-то там, сзади, как былинный герой отдыхает на камне суперсап Лямбда, ожидая почестей и наград, которые определит ему Большой Совет...

А где-то там, далеко позади капсулы, уносящей Тима, старший по патрулю, окружившему суперсапа, немного растерянно докладывал о создавшейся ситуации по индиканалу:

— ...я ж говорю, они сами сели, Комиссар. Вот и я думаю — что-то не то... А он спокойно отдыхает на камне, выпутился на закат и не моргнет. Будто плевать ему с высокой вышки на свое положение... Он только один раз попросил разрешения выйти на связь с Нодье, но я на него прикрикнул, и все. Я решил, что он вызовет подмогу... Нет-нет, мы не говорили ему ничего оскорбительного, что вы, Комиссар! Я только раз спросил его, зачем они утянули мальчишку, но он ничего не ответил... И знаете, Комиссар, мне показалось, что я сразу же обозвал себя дураком. Вообще-то я не очень самокритичен, но тут я как-то сразу осознал, что я дурак... Что? Вы полностью согласны? Но ведь он... Понимаю... Но ведь он скег Гера и Лао... Что? Есть заткнуться! Я уже заткнулся, Комиссар... Есть доставить его в Центр Нодье! Хорошо, будет сделано... Чтобы Нодье оказался завтра утром у вас на допросе... Ясно! Конечно, деликатно, о чем речь... Только меня не пустят к нему. Вы же знаете, Комиссар, старикашка... да-да, этот Жан Нодье с причудами, может и на допрос не явиться... Есть! Есть выполнять!

Грегори и Комиссар очень медленно шли к своей капсуле, шли нехотя, словно не спешили удалиться с этой прекрасно ухоженной лужайки вокруг дома Зэта.

— Знаешь ли, — вздохнул Комиссар, — впервые в жизни я не уверен, что мне нравится моя работа...

— Боишься, что тебе предложат арестовать Ясенева и Нодье?

— У меня рука не поднимется, но им грозят немалые неприятности.

— Я на их месте поступил бы так же,— твердо сказал Грегори.

— И я, но дело не в нас с тобой. Как частное лицо и как сотрудник ПСБ я вынужден придерживаться нескольких разных точек зрения.

— Должно быть ты крепок на разрыв...

— Приходится... Каждому из нас приходится испытывать себя на разрыв многими противоречиями — разве это удивительно?

Они уже подошли к капсуле, где их ждал Ясенев, завершивший свою метаморфозу и все еще бледный.

— У Раджа берут показания,— сказал ему Комиссар,— потом он направится прямо к вам. А завтра к вечеру жду вас у себя, нам будет о чем поговорить... Стив, ты сможешь отвезти Игоря Павловича домой?

— Смогу,— сказал Грегори и, улыбнувшись, добавил.— Если тебе надоест ловить зэтов, Комиссар, приходи в наш Центр, мы будем рады...

Над озером уже взошла картишко-золотистая луна, и Анна поплотней укуталась в Игореву куртку.

«Страшно подумать,— размышляла Анна,— что у этого озера тысячу лет назад могла сидеть моя пращурка, зная, что сын ее полонен лихой вражиной, а муж поскакал ей на помощь, и, может быть, лежит он где-то на лесной дороге со стрелой в груди, а сын бредет среди пыли и гиканья в связке рабов... И такая же ночь тем же бесмысленным глазом созерцала ее и звала уйти в эти воды, стать живым камнем для нестерпимо ноющей памяти...»

Игорь Павлович и Тим, взявшись за руки, выбрались из лесу и бегом бросились к берегу. Анна обернулась. Не было сил встать, и пошевелиться тоже не было сил. Она звала их, ей казалось, оглушительно громко, но она лишь шептала их имена и мысленно неслась к ним, обгоняя свет, пытаясь обнять раньше, чем увидеть. Но это был только бунт воображения, а на самом деле она сидела не в силах оторваться от земли, а ее мужчины — ее мужчины! — мчались к ней, нелепо подпрыгивая и размахивая руками.

И добежав, с разгону бросились на нее и стали тормозить, доставляя ощущение своей реальности, своей длящейся жизни самым древним и достоверным способом. И Анна засмеялась, опрокинутая и разорванная этим вихрем, засмеялась и подмигнула луне, бьющейся в затмениях среди двух родных лиц, которые вовсе не были сгустками тумана или электромагнитных волн, а становились все более реальной плотью Анны Ясеневой.

Отчаянной силы импульс этой реальности внезапно прошил ее с головы до ног, и она поняла, что разорванной на три части Анны больше не существует, а снова есть их Аннушка, мама и жена, их, что угодно, но именно их! И этот мгновенный импульс полноты жизни выбросил Анну вверх, она взметнулась свечой и ударилась в пляску с каким-то диким внутренним ритмом, со смехом и слезами. И вслед за ней взметнулись Игорь и Тим, две ее вновь обретенные части, и все они сплелись в живой пульсирующей композиции, которую небо видело своим золотистым глазом тысячу лет назад, а может, раньше или позже — в прошлом или в будущем.

Но сейчас на берегу маленького лесного озера творилось настоящее, творилась пляска, в которой исчезали страшные часы двух последних дней, мельчайшие по космическим меркам частицы неуловимости, именуемой временем.

Минск, 1985

ЧЕРНАЯ НЕДЕЛЯ ИВАНА ПЕТРОВИЧА

Не помню сам, как я вошел туда,
Настолько сон меня опутал ложью,
Когда я сбылся с верного следа.

Данте (Ад, I, 10—12)

1

Божий дар свалился на Ивана Петровича Крабова внезапно и без каких-либо серьезных оснований. Не наблюдалось перед этим многозначительных знамений или вещих снов, напротив, все шло донельзя серо и обыденно. И даже сколь-нибудь четкого желания обрести чудесное ясновидение у Ивана Петровича никогда не возникало.

Произошло это глубокой осенью, в заурядное субботнее утро, когда Иван Петрович имел единственное полуосознанное стремление подремать еще часок, хотя внешние обстоятельства тому крайне не способствовали. Несмотря на довольно ранний час, что-то около восьми, Анна Игоревна вовсю гремела кастрюлями на кухне, и в этом шуме Иван Петрович сквозь полудрему улавливал многообразные угрожающие нотки. Кроме кастрюльного перезвона, супруга заполняла квартиру отнюдь не лаконичными нравоучениями в адрес их пятилетнего сына Игорька, и жалкие ломтики прессованных опилок, именуемые дверью, никак не защищали слух бедного Ивана Петровича. Дело клонилось к тому, что никакого завтрака в отсутствие отца Игорек не получит — не видеть ему завтрака, как своих собственных огромных ушей, которые он опять забыл вымыть. Игорек слабо ныл, не улавливая тонкой связи между собственным утренним аппетитом и затянувшимся сном отца, который, наверное, устал и не хочет идти в свой садик, то-есть на работу.

Впрочем, нет, Игорек неплохо знал, что по субботам и воскресеньям они с папой свободны от утреннего штурма автобуса. Но от его малолетнего внимания ускользала важнейшая закономерность домашнего распорядка — каждую субботу в полдевятого Иван Петрович должен был, неза-

висимо от погодных условий и душевного состояния, идти во двор и заниматься зверским избиением двух ковров и одной ковровой дорожки. Тяжелые и неуклюжие пылесборники с синтетическим ворсом доводили Ивана Петровича до настоящего неистовства, что, разумеется, увеличивало его славу великого умельца-выбивальщика.

В то утро Анна Игоревна имела все основания для недовольства — попросту она уже не сомневалась, что в данную конкретную субботу раз и навсегда заведенное ею расписание нарушится. Отсюда и глубокое смятение, которое никакими силами не втискивалось в ее, в общем-то, добродушное сердце и рвалось наружу, претворяясь в звонкое кастрюльное аллегро.

Вот-вот Игорек с громкими криками ворвется в спальный угол родительской комнаты, так называемой залы, и окончательно выдернет Ивана Петровича из жалких остатков дремы. Да какая там дрема! Разве может по-настоящему дремать человек, твердо зная, какую казнь подготовили ему близкие?

Но в адском механизме Анны Игоревны что-то разладилось. Скорее всего, Игорек забастовал, не желая получать заветный бутерброд ценой отцовского покоя.

И тогда Иван Петрович услыхал решительные шаги супруги. Он сильно зажмурил глаза, уткнулся носом в подушку и целиком погрузился в только что родившийся светлый замысел — если сегодня удастся хоть немного нарушить святое правило 8-30, то его можно будет нарушать и потом, а возможно, и вовсе устраниТЬ из семейного обихода. На миг перед внутренним взором Ивана Петровича мелькнула сцена прекрасного будущего без ковровых экзекуций, зато в сопровождении надрывно поющего пылесоса. Мелькнула и исчезла в скрипке прессованного ломтика и в прерывающемся от негодования голосе супруги:

— Дитя голодное плачет, а ему наплевать. Вставай сейчас же! Вставай!

Эти слова Иван Петрович воспринял отчетливо, и тут же в него полетел не менее отчетливый увесистый добавок:

Долбануть бы этого жирного тюленя по затылку, чтоб не притворялся. Ну и вонища здесь. Сейчас же открою форточку, так он пулей вылетит из постели. Видно, опять ноги не вымыл, безобразник несчастный...

Иван Петрович не мог поклясться сразу в двух противоречивых вещах. Во-первых, фразы про жирного тюленя и прочее были ессомненно сказаны голосом Анны Игоревны, разве что громкого приглушенным и обесцвеченным. Да и по логике, некому было, кроме нее, бросаться такими фразами в этой комнате.

Во-вторых, в голове все еще кувыркалось последнее слово, которое вслух произнесла супруга, — «вставай», и в этом Иван Петрович был уверен, как в самом себе.

В единстве и борьбе указанных противоречий у Ивана Петровича возникло неодолимое желание проверить — нет ли кого из посторонних в его комнате. И тогда, разрушая свою нехитрую маскировку, он резко повернулся, присел на постели и ошалело уставился на ближайшего обладателя высокоразвитой второй сигнальной системы — собственную жену.

Скрипнула пружина. В прихожей монотонно топал и ныл Игорек.

— Ну, что я говорила? — победоносно выдохнула Анна Игоревна. — Притворяешься! Всю жизнь только и делаешь — притворяешься! И, между прочим, ноги опять не вымыл, а я белье два дня как меняла, а теперь в стирку сдавать, да?

И снова устремился в Ивана Петровича странный довесок:

— Ну, чего выставил свою глупую заспанную морду? И блямбики в глазенках, будто голуби накакали. Несчастье плешиловое, надоел же ты мне, ох, надоел. И этот балбес весь в отца, чего б не хватало. С утра пораньше голову задолбит. Ой, колбаса горит...

— Ой, колбаса горит! — воскликнула Анна Игоревна и рванулась на кухню.

— Быстро вставай, — выдохнула она на бегу.

— Эта дрянь и так, без всякой сковородки, за день до тошноты краснеет, а тут столько масла истратила... горелую есть будете... не ори ты, репродуктор ходячий... — запричитала она где-то вдали.

В мирный уголок Ивана Петровича просочился угар. И вместе с этим угаром в него вползла странная догадка: «Я могу подслушивать чужие мысли, ибо сейчас я узнал мысли собственной супруги». И хотя Иван Петрович еще не скоро оказался во дворе — но все-таки ровно в полдевятого! — в душу к нему закралось нечто промозглое и сырое. И он стал быстро одеваться.

2

Субботний день проплыval перед Иваном Петровичем, как в тумане. Он впервые посредственно выбил ковры, ибо глубже, чем следует, погрузился в неприятные размышления о природе собственного несчастья. Откуда-то он слышал, что угадывание чужих мыслей — сплошное шарлатанство, кажется даже, антинаучное запудривание мозгов с неизвестно какими, но уж наверняка неблаговидными целями. И, разумеется, Ивану Петровичу пред-

ставить было страшно, что он стал вместилищем чего-то такого инородного, с нехорошим душком, и, весьма вероятно, запрещенного. Однако представлять приходилось, и сопутствующие картины никак не способствовали качеству ковровыбивательной процедуры.

Получив от супруги строгий выговор, Иван Петрович окончательно скис, тем более, что мысленная часть выговора, последовавшая за обычными резкими словами, содержала все доказательства крайнего презрения к его впавшей в халтуру личности. В наказание он был отправлен в магазин и, потолкавшись по трем очередям, убедился в бесспорном существовании телепатии. Он узнал, что симпатичной кассирше Светочке изменяет парень, одолживший у нее сорок три рубля, что у соседки по подъезду Марии Карповны, стоявшей рядом в очереди за сардельками, тяжело, если не безнадежно, болен муж, что рыжий грузчик Серега заначил две банки азербайджанского вермута и боится, что директор похлопает его по карманам, и еще множество совершенно неожиданных и, пожалуй, ненужных сведений втекло в его понемногу вспухающий мозг.

Потом был еще один выговор, потом обед...

В результате, к пяти часам дня у Ивана Петровича развился натуральный комплекс неполноценности. Ко всему прочему, он чуть не позабыл о традиционной пульке у Ломацкого и убежал, прихватив из дома всего рубль с мелочью.

В сущности, это было не очень страшно — максимальные потери никогда не превышали трешки. Слишком уж привыкли друг к другу члены преферансного кружка. Однако расплачиваться следовало сразу — это правило соблюдалось столь же неукоснительно, как и явка игроков к половине шестого.

Семен Павлович Ломацкий, врач-венеролог, веселый и подвижный мужик лет пятидесяти, жил совсем неподалеку, в соседнем корпусе. Квартира его была обставлена очень прилично, а при мысли о количестве ковров в этой квартире у Ивана Петровича сразу же начиналась ломота в плече.

Когда Анна Игоревна говорила — обставляться, как люди, одеваться, как люди, она имела в виду не абстрактную личность с глянцевой иллюстрации, а конкретно Ломацкого и его стилизованную берлогу. Однажды Анна Игоревна побывала там в гостях, и с тех пор в ее взгляде затаился еще один кубометр тайной злости на свою нелепую судьбу. К счастью, ей очень не понравилась молодая жена Ломацкого Фанечка, пухленькое двадцатисемилетнее существо с очаровательной мордашкой и рвущимся к едва ли кому ведомым целям великолепным бюстом. Анна Игоревна

считала, что такой брак подрывает основы общественной морали, ибо, во-первых, что будет, если все мужчины станут брать жен вдвое моложе себя, а во-вторых, за какие такие заслуги досталось Фанечке как сыру в масле кататься? «Конечно, я понимаю! — кричала Анна Игоревна в очередном приступе обличительного энтузиазма.— Я все понимаю! Ты тоже с удовольствием бросил бы меня, растоптав плоды совместной жизни ради сопливой девчонки. И хоть ты намного моложе Ломацкого, даже его Фанька оказалась бы слишком молода для тебя, слышишь, слишком молоды...»

Иван Петрович все это слышал и, разумеется, соглашался, со вздохом, но соглашался. Однако он вовсе не считал, что Фанечка до такой степени ему не подходит. Напротив, он не раз воображал себе этакие удивительно заманчивые сцены и даже как бы ощущал кончиками пальцев замочек на французском лифчике Фаины Васильевны — ведь не могла же она не носить именно французское белье...

Но игривые мотивы были давным-давно загнаны вглубь и никак не проявлялись — очаг гостеприимного доктора казался Ивану Петровичу неприкосновенным.

На этот раз Иван Петрович немного опоздал. Все были в сборе и, видимо, недоумевали. Ломацкий сидел за столом, сердито уставившись в расчерченный лист бумаги. Напротив устроился следователь Фросин, личность брюнетистая, поджарая и оттого крайне загадочная. Четвертый участник пульки Аронов, инженер божьей милостью, нервно бегал по комнате, преимущественно вокруг небольшого столика, где заботливая Фаина Васильевна приготовила поднос с весьма затейливыми бутербродами и двумя запотевшими бутылочками.

— ... и все-таки не раскалывается, стервец, — произнес Фросин в момент появления Ивана Петровича.

Крабов напряженно пережевывал отрицательную эмоцию, полученную от Фанечки, которая открыла ему дверь, поздоровалась и с наимилейшей улыбкой выдала:

Господи, опять эта бесцветная личность. До чего ж надоело, неужели Киса не может водить к себе кого-нибудь...

Так и не выяснив Кисиных возможностей, Иван Петрович рванулся в комнату.

Деликатнейший Семен Павлович не сказал ни слова, лишь незаметно метнул взгляд на высоченные антикварные часы.

— Извините, — забормотал Иван Петрович, — домашние дела, так сказать, семейные проблемки.

— Ладно уж, не оправдывайтесь, — дружелюбно ухмыльнулся следователь Фросин. — Пока тут Михаил Льво-

вич организует по стартовой, я вам презабавную историю расскажу. Гаденькое дельце мне досталось...

Иван Петрович перевел дух и сразу успокоился. Никаких мыслей, кроме:

...эх, по холодненькой... возьму бутербродик с краю... сегодня уж повезет...

в воздухе не витало. Мягкий свет и уютное похрустывание колоды в руках у Ломацкого создавали все условия для быстрого восстановления истрепанного внутреннего мира Ивана Петровича.

— Так вот, находим мы у него шесть икон,— продолжал Фросин, искоса прослеживая нехитрые манипуляции Аронова.— Находим и, как положено, тянем на допрос, а он ни в какую. Знать не знаю, говорит, и не ведаю. Иконки, дескать, дрянь, купил у случайного человека примерно по трешке за штуку — тому вроде бы выпить приспично,— и именем не поинтересовался. Если надо, говорит, берите на здоровье мои иконки, мне такая ерунда и даром не нужна. И вот я сижу, печенкой чую — его это работа, а Пыпин только скалится. Неужели, говорит, вы меня, интеллигентного человека, в банальной краже подозреваете?

— Позвольте, позвольте, Макар Викентьевич,— вмешался Ломацкий,— я чего-то не понимаю. Разве вы никаких следов этого Пыпина в церкви не обнаружили?

— В том-то и дело,— радостно воскликнул Фросин, и Ивану Петровичу показалось, что не такой уж этот брюнет загадочный.

— В том-то и дело! Я же полчаса вам толкую, что следов никаких нет, что сам Пыпин, скорее всего, и рядом с той церковью не стоял, а дружка навел. Только теперь — концы в воду. Нет у него, видите ли, дружков, нет и точка! И седьмой иконы, самой ценной, тоже нет.— Тут без стартовой не разобраться,— подал голос Аронов.— Бросьте-ка эту ерунду, пора за дело.

Дружно выпили по маленькой, закусили отменно гастрономичными бутербродами и приступили.

И сразу, после первой же сдачи, Иван Петрович понял, что влип он в пренеприятную историю, поскольку все карты своих партнеров знает досконально, как будто лежат эти карты на столе картинками кверху.

И пошла кутерьма. Для начала засадил Иван Петрович Фросина на практически неловленном мизере. Пригласил Аронова втемную и после совершенно правильного первого хода следователя отобрал шесть своих и безжалостно всадил четыре. От этого художества у Фросина волосы встали дыбом, и он при следующей игре заторговался до чертей и оставался без одной, а все потому, что Аронов имел привычку при своей сдаче сразу же подсматривать

прикуп. А когда через два круга Иван Петрович торжественно заказал мизер, зная, что прикупные семерка и дама крестей дают ему все гарантии безопасности, Фросин нехорошо побледнел. И тут Иван Петрович сквозь ровный шелест простых счетных мыслишек уловилвой настоящего снаряда:

С ума сойти с этим Крабом. Ну, чего он творит? Краб, крап... Неужели крап? Тогда трешкой не обойдешься. Галка баню устроит, мать ее... Пришить бы этому разбойнику пару годиков строгача. Фраер проклятый...

И не было сомнения, что пакостные мысли относились к Ивану Петровичу Крабову — к кому же еще? В принципе, Крабов не обиделся, напротив, он наполнился внутренним раскаянием, но, с другой стороны, очень уж было приятно организовать бурю в застоявшемся субботнем болотце.

По традиции выпивали по финишной и расходились около часа ночи, повеселевшие и довольные друг другом. Но на этот раз атмосфера заметно испортилась. Иван Петрович выиграл тридцать один рубль сорок копеек, причем бедняга Фросин вынужден был заплатить ему почти половину. Понурые физиономии соперников и весьма вольные их мысли портили настроение, но самое важное заключалось в ином — из своего чудовищного выигрыша Иван Петрович решил заначить только червонец, а все остальные немедленно вручить Аннушке. Это обеспечивало, как минимум, недельный покой и всяческие семейные привилегии.

Всемирная любовь охватила Ивана Петровича, и если бы он мог, то несомненно предложил бы каждому рублю по три из своего приза. Для недельного воспарения в глазах супруги вполне хватило бы и десятки.

Натягивая плащ, Фросин снова стал жаловаться на судьбу, на безнадежное дело, из-за которого он, конечно же, схлопочет выговор от начальства. И тут Ивана Петровича черт дернул за язык. То есть хозяин языка буквально почувствовал какое-то щекотное прикосновение к кончику, возможно, это скатилась свернувшаяся в шарик всемирная любовь. В результате, он панибратски похлопал Фросина по плечу и сказал:

— Давайте-ка, Макар Викентьевич, я вам помогу, ей-богу, помогу.

— Да вы что, смеетесь? — вскипал Фросин.— Чем вы способны мне помочь? Вы? Это ж не в преферанс перекидываться!

— Хотите, поспорим, что помогу? — не унимался Иван Петрович.— Допрошу вашего Пыпина и расскажу вам, где он прячет седьмую икону...

— О, пари, пари! — захлопала в ладоши Фанечка, появляясь из спальни в сногшибательном кимоно.— Заключайте пари!

Фросин затравленно шарахнулся от нее и черными своими дьявольскими глазами уставился на Крабова.

— Хорошо,— раздельно и твердо проговорил он.— Пари, Иван Петрович, на бутылку «Наполеона», чтоб неповадно было. А бутылочку в следующий раз здесь и раздадим, идет?

Иван Петрович на миг остро пожалел бюджет Фросина, но тут же решил перебросить в заначку еще червонец — мало ли что! Реакция Анны Игоревны на всякие долги чести была ему известна куда как точно...

И вдруг какое-то дрожание мозгового эфира резко испортило ему настроение. Уловив направленные взгляды Фанечки, он услыхал:

Если бы ты еще поприличней одевался и не так слюнявил, можно было бы и потерпеть. Нет, ну тебя к чертам, ничего ты толком не умеешь, импотент несчастный. Вот Дергалов — совсем иное дело, только Киса, по-моему, начинает догадываться...

Конечно, нельзя ошибиться — это в адрес Аронова. «Ах, развратник несчастный», — подумал Иван Петрович, и, сострадательно заглянув в глаза Кисе, покинул его квартиру в полном смятении чувств.

Однинадцать рублей сорок копеек произвели на полусонную Анну Игоревну неотразимое впечатление. Она даже вскочила с кровати, уронив на пол пухлый жоржандовский роман, и наградила Ивана Петровича многими восторгами, которые частично компенсировали его злость на Файну Васильевну Ломацкую.

Погрузившись по уши в необъятную пуховую подушку, Иван Петрович смыгнул веки и тут же выпал из окружающего мира.

3

Он не сразу понял, куда попал. Первое, что он осознал отчетливо и вполне,— свое целиком расплющенное, истинно двумерное состояние. Потом, пользуясь разветвленной дедукцией, он определил себя как карту, лежащую в прикупе и страстно желающую прийти к нему же самому, признанному королю преферанса, выступающему в каком-то крупном международном турнире или даже на мировом чемпионате.

Одновременно он остро ощутил привкус горечи от того, что никому, в сущности, не нужен, даже Ивану Петровичу Крабову, который, во-первых, стал трехмерным, а во-вторых, вообще не нуждается в валетах неустановленной масти.

Да, да, в этом все дело! Ни к какой из четырех известных мастей плоский вариант Ивана Петровича не принадлежал — он был валетом пятой неопределенной и, возможно, несуществующей масти и потому ни в коем случае не мог встать в козырный ряд. Таким образом, он не способен был принести пользу воображаемому трехмерному Крабову, высоко вознесшемуся в мировой преферансной элите.

Столь бездарное положение плоского Ивана Петровича никак не устраивало, и он срочно поменялся формой с более привычной трефовой семеркой, находившейся в руках у Аронова. Семерка — почти туз, только с двумя лишними рядами крестов. Операция обошлась сравнительно недорого, странно, что семерка на нее клюнула. Кажется, Иван Петрович поплатился очередью на квартиру улучшенной планировки.

«Теперь я похож на настоящего крестоносца,— не без гордости думал он.— У меня красивый белый плащ, и я должен завоевать гроб Господень».

Но завоевание пока откладывалось, и плоский Иван Петрович медленно полз к Ломацкому, который наконец-то решился осуществить свою давнюю мечту — сыграть мизер в темную на бомбе.

Ломацкий такому прикупу необычайно обрадовался. Славный мизер выходил у него. И все завершилось бы отлично, не взбунтуйся тишащий Михаил Львович.

— Странно,— сказал он дрожащим от обиды голосом,— с какой стати вы, Семен Павлович, фотографию своей супруги в колоду подсынули. Что за намеки?

И он стал показывать всем по очереди валета пятой масти.

— Позвольте, позвольте,— беспокойно заерзал Ломацкий,— но я чего-то не понимаю. Разве вы обнаружили в церкви следы Фаины Васильевны?

— Ага! — торжествующе воскликнул Фросин, который как раз и сдал в прикуп плоского Ивана Петровича или иным образом, расплющил его.— Все становится на свои места. Ведь это у вас, Михаил Львович, никакая не Фаина Васильевна, это богоматерь мужского пола, наверное, седьмая икона, украденная Пыпиным. Первый раз вижу икону в виде карточного валета. Во замаскировали!

«Это ж обычный валет, только чуждой нам масти,— подумал двумерный Иван Петрович.— Какое счастье, что я успел поменяться с семеркой. Сейчас все глазели бы на меня, а вскоре всплыла бы истинна. Однако подозрения непременно падут — на меня или на того, который притворился трехмерным».

Но воображаемый Иван Петрович ни на что не реагировал, а сидел с гроссмейстерским видом, пристально вглядываясь в свои карты.

Скандала не вышло, а решили, к безусловному неудовольствию Ломацкого, пересдать. Валета чуждой масти попросту выкинули из колоды.

На какой-то миг крестоносному Ивану Петровичу стало жаль эту беспризорную оригинальную карту, однако он ясно понимал, что гораздо приятней тасоваться в общей колоде, чем одиноко валяться на ковре под столом, созерцая весь набор домашних тапочек из арсенала Ломацкого и непонятные значки в противоположных углах собственного плаща. Наоборот, с ясными крестами, многотиражно отпечатанными на глянцевой поверхности, все становилось донельзя прозрачным. Сама собой возникла цель — кого защищать и на кого нападать, какому королю послужить поддержкой, а кому из игроков — последней надеждой на неловленный мизер.

«Однако какой же я был масти?» — напряженно сообщал Иван Петрович, снова сжатый слегка вспотевшими пальцами Фросина. — И везет же нам с Макаром Викентьевичем друг на друга... Обязательно надо вспомнить, какова пятая масть в нашей колоде. И вообще, стоило ли менять свою неповторимость на бесконечные перемещения в чужих руках, где семерка, как бы ни рыпалась, все равно останется семеркой? С другой стороны, одинокий валет — не велика радость, никогда в козыри не выбиться. Странная масть. Что мне напоминает значок в углу? Ага! Если четыре обычных масти — вроде полноценных арийских сословий где-то в Индии, то я получался вроде неприкасаемого, и наверное, поэтому меня зашвырнули под стол, то есть уже не меня, но все-таки вышвырнули. Значит, это был кастовый значок. Зря семерка согласилась, теперь и улучшенная планировка не принесет ей особого счастья. А вот я уже козырем стал! Молодец Фросин — шесть трефей заказал, немного, но свое отгребет. Как пить дать, на крестоносцах в рай въедет...»

На этом размышления двумерного Ивана Петровича были прерваны. С него пошли, и сильный шлепок по столу начисто разрушил его забавные видения.

На мгновение Иван Петрович очнулся, мягко столкнул с себя неудачно разметневшуюся супругу, повернулся на бок и тут же уснул праведно и безмятежно, а главное — без лишних вопросов о природе пятой масти.

4

В воскресенье Иван Петрович проснулся в относительном душевном равновесии. Супруга на цыпочках порхала по квартире и полуслепотом воспитывала Игорька. Поздний и единственный ребенок Крабовых громко повторял ее слова:

— Папочка устал, и его нельзя будить. Папочка вчера долго работал и устал. Игоречек-зайнька не будет будить папочку.

Его голоса было вполне достаточно, чтобы перебудить всю лестничную клетку, но содержание компенсировало форму, и именно оно убедило Ивана Петровича, что его ночной вклад в семейный бюджет не пропал даром.

Иван Петрович встал, умылся и, бесшумно проскользнув на кухню, чмокнул Аннушку прямо в шею. Она грузно подпрыгнула, замахала руками, засуетилась.

— Ой, Ванечка, ой, напугал! А я вот тесто на оладушки замешала. Будем сейчас оладушки кушать.

— Зайнька,— крикнула она Игорьку,— включи-ка телевизор, там как раз «Будильник».

В комнате, именуемой залой, тотчас зазвучала бодрая музыка, и веселые голоса ведущих стали насыщать атмосферу чем-то заковыристым и юморообразным.

Помешивая тесто, Анна Игоревна включила огонь под сковородой и произнесла роковую, хотя внешне совершенно безобидную, речь:

— Утомился вчера у этих Ломацких? Еще бы, еще бы! Все Европы у себя гоняют? И откуда, скажи, берется, а? Ну, откуда? На чужих трипперках процветают. Отрыгнется Фаньке, попомнишь меня, отрыгнется. Оставит она своего Кисоньку с огромнейшими рогами и еще с инфарктом, это уж точно — с инфарктом.

Иван Петрович безразлично кивал, на поверхности его мозга колыхалась мелкая рябь полного согласия с мнением супруги. Но под этой рябью духовного взаимопонимания и семейного благоденствия уже набирало силу темное и загадочное подводное течение. Булькая и завихряясь сначала где-то в области поджелудочной железы, оно постепенно затопило сердце и стало подниматься все выше и выше. Взгляд Фанечки на Аронова, случайно подслушанные ее мысли, добродушно блуждающие самодовольные глаза Семена Павловича — все всплыло как-то сразу и сразу разрушило утреннюю идиллию.

Иван Петрович вдруг понял, что начихать ему на приключения Фанечки с Ароновым и с этим самым бессмысленно врезавшимся в память Дергаловым, начихать на ее вызывающие красивые грудки и яркие губы, поскольку все это тешит взор, но никак не относится к предметам его, Крабова, семейной собственности. Начихать, когда перед ним пританцовывает, суля несчастному Ломацкому всякие напасти, не чужая женщина, а своя жена, и надо сказать, даже теперь, на тридцать восьмом годике жизни, очень симпатичная дама. А раньше, в первые безоблачные годы брака,— не то чтоб симпатичная, а просто очень эффектная, вполне способная не только понравиться, но

и стать предметом глубокого интереса. И хуже того, Ивану Петровичу доподлинно был известен один из тех рыцарей, для которых Анечка представляла в те годы лакомый кусочек. Звали этого типа Людвиг Ильич Сильвестров, и состоял он начальником Анны Игоревны, ухаживая за ней вплоть до позднего замужества. Он и потом долгое время не оставлял ее, даже в гости захаживал, а острой на язык Анечке ни в коем случае нельзя было показывать и тени своей ревности, иначе — конец, засмеет. И мучился тогда бедный Иван Петрович лютой внутренней мукой, мучился от малости своей и ничтожности, что ли, рядом с блестящим по уму и по внешности Сильвестровым, от которого в памяти остались модные тогда невероятной шириной галстуки и липкая улыбка под огромными искренними голубыми глазами.

И всплыла в Иване Петровиче вся эта давно погребенная и честным словом Анны Игоревны припечатанная муть, всплыла, и белый свет и гора оладушек на тарелке показались ему пресными и бессмысленными атрибутами существования.

— Ванечка, Ванечка,— все настойчивей взывала к покинувшему ее супругу Анна Игоревна,— я ж тебя в третий раз спрашиваю, во что эта соплячка перед вами наряжалась? Ты оглох, что ли?

Иван Петрович медленно со скрипом въехал в потемневший кухонный мир и, не отрывая взгляда от оладий, буркнул:

— В кимоно...

— Это ж надо! — воскликнула Анна Игоревна, но тут же осеклась, почуяв недобroe.

— Ваня, что с тобой? — тихо спросила она.— Может, на работе неприятности? Какой-то ты не такой.

— Папуленька больненький,— поставил диагноз Игорек, уминая третьью оладушку.

— Аня,— совсем чужим и оттого неприятным голосом начал вдруг Иван Петрович,— скажи мне честно, Аннушка, у тебя с Людвигом что-нибудь было?

Анна Игоревна уронила очередную оладью, вслед за ней на пол полетела вилка.

— Женщина к нам спешит,— по инерции сказала она, потом слабо улыбнулась и почти веселым тоном спросила.— Ты что, рехнулся, Ванюша? Тебе тогда не надоело меня допрашивать?

Господи, крест какой-то тяжкий с этим Лютиком. Ну не могу же я тебе, дурню толстокожему, всего объяснить. Не скажу ведь, что вся твоя ценность в семейном призвании, что скотина последняя этот Лютик, но зато мужик, каких я никогда, пенек ты несчастный, ни до тебя, ни потом не знала, что после него, после его пальцев, будь

он проклят, я прымиком на стенку лезла и на все готова была...

Приняв это сообщение, Иван Петрович зажмурился и пулей вылетел из кухни. «Предательница, потаскуха», — думал он, бегая по комнате.

— Да что с тобой, Ванечка? — спросила не на шутку встревоженная Анна Игоревна, появившись рядом.

— Не тр-р-рогай меня! — взревел Иван Петрович. — Лучше расскажи, что вы с ним вытворяли.

— С кем?.. Чего?.. — совсем занервничала она.

И тут перед сознанием Ивана Петровича замелькало такое, от чего в иные, более романтические времена полагалось сразу же умереть. Не отдавая себе отчета, он стал приборматывать вслух кое-какие обрывки ее мыслей, и вдруг Анна Игоревна ударилась в жуткий, ни на что не похожий рев. Может быть, она и поняла, догадалась о причине запоздалого допроса. Может быть! Но этого никто, даже самый ясновидящий ясновидец не сумел бы узнать в ту минуту. Потому что гибнущая радиостанция в ее симпатичной черепной коробке ничего, кроме сигналов катастрофы, не выдавала:

Конец, конец... До чего же идиотский конец... Сволочь Сильвестров, натрепался... Убью, убью... Конец... Бросит меня этот тихоня... Все узнал... Как?.. Откуда?.. Сволочь, все сволочи... Конец... Уйдет... Одна... Игорек... А Сильвестров еще и про Димку, про Димку натреплется... Расписаться хотел... Дура, дура... Что будет? Конец... Конец...

— Димка? — механически переспросил Иван Петрович. — Какой еще Димка?

Глаза Анны Игоревны расширились от ужаса, и она грохнулась на пол там, где стояла. Прибежавший на шум Игорек бросился на Ивана Петровича, захлебываясь слезами и сжимая кулачки:

— Ты зачем мамулю побил? Я тебе покажу...

Какой-то конденсатор разрядился внутри Крабова, напряжение резко спало, он обмяк и медленно опустился на пол рядом с нелепо разбросанным телом супруги.

5

В понедельник Иван Петрович готов был пожертвовать чем угодно, даже месячным жалованьем, чтобы не ехать на работу. Он еле-еле оторвал голову от подушки, вернее не голову, а пухлое болевместище.

Он проклинал случайно застрявшую в буфете бутылку водки, монотонные всхлипывания Анны Игоревны, охватившее его от пяток до макушки желание бежать, бежать куда-нибудь, полбутылки пива сверху, стакан, запущенный изо всех сил в равнодушно-голубую стену,— в общем,

проклинал он вчерашний вечер и, пожалуй, весь воскресный день.

Но надо, ничего не поделаешь — надо, и это многомерное, мгновенно обрамившее сознание Надо выкинуло Ивана Петровича в обычные его семь пятнадцать утра в слякоть и автобусную толчью.

Преодолев проходную буквально на последних секундах, Иван Петрович успел заметить неподвижную фигуру в черном — заместителя директора по режиму товарища Пряхина. Товарищ Пряхин раз в неделю, однако в совершенно непредсказуемые дни, самолично и сугубо добровольно выходил на охоту к вертушкам, и попадаться ему дважды вблизи этого остроумного механизма никак не следовало. Негласные правила предписывали каждому, оказавшемуся после звонка по другую сторону вертушки, спокойно развернуться и последовать к ближайшему гастроному, где ровно в восемь тридцать можно было попробовать горячего кофе. В промежуточные пятнадцать минут требовалось исполнить долг вежливости, а именно позвонить в свой отдел и сообщить, что ты по производственной необходимости, скажем, с восьми до десяти, задерживаешься на объекте. Грамотные отдельцы немедленно включали тебя в список отсутствующих поуважительной причине, и именно в тот момент, когда тебе подавали первую чашечку двойного, товарищ Пряхин начинал вчитываться в бумагу, из которой следовало, что ты недаром ешь государственный хлеб.

Однажды Крабов попался, попался самым бездарным образом, проскочив сквозь вертушку секунд через двадцать после начала рабочего дня. Вспоминать о последствиях ему ни при каких обстоятельствах не хотелось, но с тех пор он стремился строго следовать кофейно-дисциплинарному ритуалу. Он с удовольствием принял бы кофейный вариант этого ритуала и в понедельник, но увы! Именно в этот день с самого утра он должен был участвовать в совещании по анкете, а в такой ситуации никакие оправдания на начальство не действовали.

Совещание открылось как обычно — в большом кабинете заведующего отделом Макара Трифоновича Филиппова, человека, олицетворяющего для Крабова всю серьезность и запутанность проблем, которыми занималось учреждение со строгим контролем за трудовой дисциплиной. Сегодня должны были утвердить проект плановой анкеты по источникам благосостояния. Сквозь немногого поутихшую головную боль Иван Петрович старался с прецельным вниманием вслушиваться в обсуждение каждого пункта, а в отдельные моменты даже кивал головой. И все шло настолько хорошо и гладко, что Иван Петрович готов был поверить в теорию строгого чередующихся полос везе-

ния и невезения. Вот и обсуждение сорок седьмого вопроса, в разработке которого принимал участие Крабов, прошло без сучка и задоринки, а Макар Трифонович даже отметил его скромные заслуги в правильном подборе прилагательных.

Забрежил финиш совещания, и выход на финишную прямую обозначился кратким вступительным словом товарища Филиппова:

— Итак, переходим к последнему, сорок восьмому вопросу. Прошу сосредоточиться. Я думаю, до перерыва успеем.

Встала секретарь Лидочка и с выражением прочитала, по бумажке:

— Вопрос сорок восьмой. Можете ли вы назвать дополнительные источники пополнения вашего семейного бюджета — подсобное хозяйство, работа по совместительству, помочь родственников и прочее? В скобках: ненужное зачеркнуть.

Как социолог слегка романтического направления, Иван Петрович сразу же представил себе склоненную голову среднестатистической единицы, напряженно размышляющей над ненужностью указанных источников дохода. Однако согласиться с ненужностью какого-либо из этих источников он никак не мог, особенно «и прочего».

И тут таинственный локатор Ивана Петровича принял сигнал, несомненно исходящий от устало прикрывшего глаза начальника отдела:

Молодец Выгонов, хороший вопрос, и место оставил для моего замечания. Молодец! Источники чего? Пополнения, дополнения, исполнения... Да, нет же. Этого самого — увеличения! Вот именно — увеличения! Или лучше что-нибудь поскромней — усиления, а? Нет, все-таки — увеличения, просто и солидно. И понятней...

— Так, товарищи,— бодро произнес Макар Трифонович,— я полагаю, Выгонов с сотрудниками составили удачный вопрос, весьма актуальный. Будут ли какие-нибудь замечания?

При такой первичной оценке по всем отдельским правилам замечаний делать не следовало. Следовало спокойно ждать, пока Филиппов самолично снимет с вопроса очевидную пылинку, кивнуть, впрыснуть свое полугромкое «да» или «нет» в общую волну одобрительного шумка и поспешить к проходной по случаю близящегося обеденного перерыва.

Но мысли Ивана Петровича потекли по иному руслу. «Ну, один-единственный раз попробую,— решил он.— Один разик, чтобы Филиппов обратил внимание, а то сидишь, киваешь...» И он несмело поднял руку.

— У вас что, Иван Петрович? — удивленно встрепенулся Филиппов.

— Тут небольшое замечание, Макар Трифонович,— еле выдавил из себя Крабов.— Дополнительные источники пополнения — это как-то не очень...

— Что не очень? — нервно перебил Макар Трифонович.

— Я хочу сказать, не очень хорошо звучит,— назло ему продолжил Крабов.— Лучше — дополнительные источники увеличения, или просто — дополнительные доходы.

— Так-так,— многообещающе протянул Макар Трифонович,— значит, вы настаиваете именно на увеличении бюджета, а не на пополнении? И вообще, на дополнительных доходах?

Ну, Крабов, погоди...

А может, это примерещилось?

— Нет, товарищи, и еще раз нет! — твердо сказал Филиппов.— Наши вопросы не должны ориентировать на увеличение. Пополнение — это скромно, как говорится, небольшое пополнение, и все. Скромно, понимаете, Иван Петрович, скромно и правильно.

Но Крабова понесло. Вместо того, чтобы забрать свое замечание и стушеваться, он задал совсем кошмарный вопрос:

— А на помощь родственников ориентироваться хорошо?

Немедленно вскочил Выгонов и, страшно сверкая зрачками, заголосил:

— Вы придираетесь ко мне и к Макару Трифоновичу. С родственниками мы не ориентируем, а только констатируем. Есть отдельные факты среди молодых трудящихся. Сын моих знакомых кооператив построил — откуда взял четыре тысячи на взнос? Конечно, у родителей...

— Так-то, Иван Петрович,— прервал Выгонова Филиппов.— Социолог должен пристальноглядеть в жизнь, глубоко изучать реальные явления. А вы предлагаете закрыть глаза на объективную действительность, да?

Поставленный с ног на голову, Иван Петрович уже ничего не хотел и не предлагал. Он съежился под осуждающими взглядами членов коллектива, понимающих, что до обеда остается три с половиной минуты, а краткой лекции о смелости научных предвидений им не миновать.

Эта лекция длилась пять минут, и, разумеется, Крабов попал в число безнадежных ретроградов, а Выгонов — в славную когорту тех, кто глубоко изучает и чувствует новое. И лишь слабым утешением для Ивана Петровича послужила очередь в столовой, где он оказался значительно ближе к раздаче, чем упивавшийся триумфом Выгонов.

После обеда Ивана Петровича поджидал сюрприз в виде вызова к Филиппову. В мыслях Крабова мелькнуло одно

единственное и несправедливое слово — «расправа», но Филиппов ни малейшего желания расправляться не проявил. Он сухо сообщил Ивану Петровичу, что тому необходимо немедленно прибыть к следователю Фросину в качестве очень важного свидетеля, и подписал пропуск, дающий право на одноразовый выход из учреждения с целью исполнения гражданского долга.

6

Итак, научный сотрудник анкетного отдела НИИ типовых обобщений Иван Петрович Крабов отправился в путешествие между двумя Макарами.

Полчаса пути по разжиженному дождем воздуху, тряские полупустые автобусы и приступы тошноты при воспоминании о вчерашнем пиве сверху стимулировали некоторые размышления о природе постигшего его несчастья. Дар чтения чужих мыслей не вызывал теперь и тени сомнений, как, впрочем, и неизбежность связанных с ним неприятностей. Иван Петрович поклялся бы самыми страшными клятвами никогда и ни при каких обстоятельствах не пользоваться этим даром. Но конкретная перспектива поиска бутылки «Наполеона» казалась ему столь мрачной, что он решил еще раз сделать уступку своим способностям.

Неприятности подстерегали его на каждом телепатическом повороте. Во-первых, он выяснил, что Лидочка считает его лабораторным бегемотом и в то же время не прочь была бы завести серьезный роман со стройным и красноречивым Выгоновым, невзирая на жену и ребенка, поскольку Федя (должно быть, ее кавалер) не пишет из армии ни слова, хотя твердо обещал жениться, а она, дура, поверила, пострадав за ту (какую ту?) ночь от тяжелой маминой руки, то есть приняв все мыслимые муки на почве мужской и родительской несправедливости и истерзавшись идеей, что такая вот порченая она на фиг никому не нужна, даже не слишком юному Выгонову, — разве что малость побаловаться, но ни в коем случае не взять замуж, что было бы совсем неплохо, так как, говорят, что из ученых получаются хорошие мужья — не пьяницы и не бузотеры вроде отца, который пообещал свернуть Федьке шею...

Во-вторых, Юра Филоктимонов, проходя мимо обеденного стола Ивана Петровича, яснее ясного дал понять, что таких, которые ни черта не рубят в работе, раздражают начальство и коллектив и раньше Юры получают в столовой свой шницель, следует гнать поганой метлой, и непременно подальше. Самое забавное, что при таких мерзких

мыслишках Филоктимонов ухитрился совершенно дружелюбно улыбнуться и подмигнуть.

«Сплошной нравственный стриптиз,— думал Крабов.— И зачем мне это надо? Зачем мой мозг суется во все замочные скважины? Если бы не «Наполеон», ни за что не полез бы к Фросину».

Иван Петрович выскочил из автобуса и нырнул в подъезд соответствующего учреждения. Дежурный очень толково объяснил ему, как попасть по лестнице на второй этаж и как в углу справа найти кабинет товарища Фросина.

Макар Викентьевич сидел за большим письменным столом, вперясь безразличным демонически-темным взором в окно. У противоположной стены на полумягком стуле с инвентарной бирочкой помещался гражданин, мнущий длинными пальцами кожаную кепку, в таком же, как и кепка, кожаном пальто. Всем своим видом гражданин выражал вежливое недоумение по поводу своего пребывания в столь странном месте. Живые зеленоватые глаза его неторопливо изучали странное место — сантиметр за сантиметром, высокий лоб с залысинами излучал спокойствие, и только в почти вертикальных морщинках около губ пряталась ирония. На Ивана Петровича он едва обратил внимание, возможно расценил его как случайного визитера.

«А ведь ты обречен,— подумал Иван Петрович.— Вот сидишь, играешь в невозмутимость, а между тем, обречен».

И в трудно передаваемых образах он ощущил радость, что не находится на месте зеленоглазой кожанки.

Фросин сухо поздоровался и указал Крабову на стул рядом с собой.

— Вы извините, Иван Петрович,— сказал он,— извините, что я напрямую созвонился. Сегодня удобней всего получается.

— Ничего, ничего, все в порядке,— заверил Крабов и тут же принял жесткий сигнал:

*Надо тебе время дать — за коньчиком побегать.
Будешь знать, как трепаться...*

— Значит так, гражданин Пыпин,— отчеканил следователь,— сейчас Иван Петрович задаст вам несколько вопросов, и мы зафиксируем ваши ответы на магнитофон. Помните о смягчающих обстоятельствах.

Гражданин Пыпин понимающе ухмыльнулся, а Иван Петрович принял от Фросина новую радиограмму:

Я тебя документально вперед ногами вынесу, хвастуншка несчастный, и пленочку в субботу у Ломацких прокручу. Тебя этот Пыпин за пояс засунет и ушами твоими нос утрут. Тоже мне, король преферансный выискался. Только б Галка по своей дурной привычке не позвонила и настроение не испортила...

Галка, или Галина Семеновна, супруга Фросина, была знакома Крабову по двум-трем вечеринкам у Ломацких, но более всего пользовалась известностью в ином отношении — очень часто угадывала она кульминационные моменты допросов и именно в эти моменты звонила, выдвигая очередное безумное предложение, скажем, захватить преступника и через полчаса явиться с ним в кафе, или что-нибудь в этом роде.

И сразу же Иван Петрович принял параллельное сообщение, почти наложившееся на предыдущее:

Что за тип? На начальника не похож, начальнику свое кресло предлагаю. На обычного свидетеля тоже не похож — таких сразу представлять положено. А может, этот... тайный агент, может, на хвост мне повесили, а он на Ваську вывел? Спокойно, спокойно, и главное — не спешить...

«Ага, Васька!» — отметил про себя Иван Петрович и даже удивился, до чего просто начнет разматываться веревочка, которой сколько ни виться...

— Гражданин Пыпин,— начал он солидным и, как ему казалось, совершенно следовательским голосом,— что вы хотите рассказать о своем знакомом по имени Вася?

Краем глаза Крабов тут же отметил, что Макар Викентьевич вздрогнул от удивления, а гражданин Пыпин, которому он старался смотреть прямо в зеленоватые зрачки, изменился в лице.

— Нич-чего,— пробормотал Пыпин,— совсем ничего, не знаю никакого Васю.

Но в мозг Ивана Петровича уже вливалась пенистая волна правдивой информации:

Попался, идиот, вlip, как последний урка. Ведь знал же, что с этим Васькой залечу когда-нибудь. Пронюхали, гады, догадались. Все. Каюк! Про Ваську молчать буду, ни звука про Ваську. Пусть сами берут его, и икону пусть у него берут, а я знать ничего не знаю, я даже могу опознать Ваську по шраму на носу. Скажу, что он мне и загнал те шесть икон, пусть докажут...

— Неужели вы ничегошеньки не знаете о Васе со шрамом на носу? — переспросил Крабов.— И адрес его не помните?

Две встречные волны хлынули в Ивана Петровича:
Чего этот Шерлок Холмс выпендривается? Какой Вася?..

Еще бы не помню! Попробовал бы я забыть домик на Сливянке, спрятав там все свое состояние!..

Надо кончать — от начальства влетит, пожалуется Пыпин на привлечение посторонних...

— Да не знаю, ей-богу, ничего я не знаю, вот поверьте,— умоляющим голосом заныл Пыпин, и Иван Петрович подумал, что неплохо было бы легким ударом по темечку отключить Фросину его болтливое сознание.

— Вы не знаете Васю со Сливянки? — спросил он Пыпина, разыгрывая максимальное удивление.— И не можете назвать нам его точный адрес?

Могу... Подрубенская, 18—23, могу, но не хочу. Не был я там, и точка. Кто меня видел? А никто! Никто из посторонних. Так что, не дури ты мне голову, утка ментовская...

— Да о каком Васе вы меня спрашиваете? — вслух произнес Пыпин.— Не припомню я таких знакомых...

— И куда икону на Подрубенской прятали, тоже не припоминаете? — спросил Крабов, победительно поглядывая на Фросина и одновременно соображая, в каком смысле его обозвали уткой — в медицинском или в охотничьем.

Судя по всему, у Макара Викентьевича добровольно отключилось мышление — его мозг не выдавал ни единого сигнала.

Чтоб ты сгорел! Ничего вы тут не знаете. Васька сам все прячет в тайник за батареей. Но Подрубенскую все-таки засветили. Крышка Василию, вечная память. Пусть один горит...

— Я же вам объяснил, гражданин начальник, что ни о каких Васях со Сливянки, ни о какой Подрубенской мне ничего неизвестно,— собрав последние силы, довольно твердо сказал Пыпин, и Иван Петрович в глубине души зауважал отчаянную твердость зеленоглазого.

«От таких женщины обычно без ума»,— не по делу подумал Крабов.

— А где вы поджидали Васю, когда он церковь брал? — спросил он.

В машине поджидал, но как ты это докажешь? В машине, рядом с гастрономом. И Васька перепсиховал еще за мою стоянку на светлом месте. Дурак Васька — на светлом месте не так подозрительно...

Ответа вслух не последовало, Пыпин только беспомощно пожал плечами. И тогда Иван Петрович пошел с козыря:

— Сколько вы хотели взять за седьмую икону с этого, ну, как его?..

С Князя? Три с полтиной, но ведь жался он, собака, а теперь — ни ему иконки не видать, ни Васе свободы. Черт побери, неужели на Князя вышли? Вот тут и мне крышка. Два свидетеля, и я посередке. Прихлопнут. Если узнают, что Князь наводил на эту церковь, полезут и дру-

гие эпизоды, и Князь отгрохает настоящий срок. Сразу позвоню, как выскочу отсюда, сразу звонок... Две последние цифры — двойка и семерка, а то путаю. А вдруг и его взяли?..

Иван Петрович спокойно привстал, взял со стола большой телефонный справочник и начал его листать. Воцарилось молчание. Фросин был доведен до крайности и даже не шевелился. А Пыпин, уставясь в пол, продолжал генерировать:

Князь заляжет на дно, к Симке на хату, а может, еще куда. Васька на меня понесет, но кто ему поверит? У него две ходки за плечами... Отобьюсь. Черт с этим тайником, другой устрою. Главное — выскочить отсюда и позвонить, а то Гаврилыч решит, что я его продал...

Иван Петрович карандашом подчеркнул «Княжевич И. Г.» и любезно протянул телефонную книгу Пыпину:

— Звоните отсюда и просите поскорее податься к Симке.

Это был рискованный трюк, но по тому, как сразу обмяк Пыпин, Иван Петрович понял, что попал в точку.

— Дайте бумагу, я все напишу,— глухо сказал Пыпин, и Иван Петрович, почувствовав себя подлинным хозяином кабинета, протянул ему несколько листов из пачки, лежавшей на углу стола.

— Макар Викентьевич, давайте пока покурим,— обратился он к медленно выползающему из сомнамбулического состояния Фросину.

И в голове у него замелькало:

Приходит тут dilettant с улицы, и все готово. Как? Как ему удалось? Ни черта не понимаю? Этот Пыпин ведь ни слова не сказал. Неужели Крабов всю ночь вел следствие? Но не мог же он своими силами разыскать и вора и барыгу. Да он и подробности-то ни одной не знал, даже с делом не знакомился. Что за чушь? Опять фокусы. Сначала на полтора червонца меня расколол, теперь на все три — попробуй добыть «Наполеон» без наценки. И Пыпина надо срочно арестовывать и всю его шайку. А я как раз хотел дело законсервировать, всем растрапеся, что надо ждать, пока седьмая икона всплынет, что Пыпин, скорее всего, честный коллекционер. Кошмар! Если кто узнает об этом допросе, засмеют. Галка из дома выгонит. Вот и проучил толстого осталопа...

Обида вскипела в душе Ивана Петровича. Он встал и, не попрощавшись, довольно сильно хлопнул дверью. Настроение вконец испортилось.

«Скотина неблагодарная,— решил он.— И я добрый осел — за четверть часа утопил зеленоглазую кожанку, а вместо спасибо — толстый осталоп... Всем, всем приношу несчастье. И бедную Аннушку чуть до инфаркта не довел, и на службе не то, и здесь...»

Все не клеилось в жизни. И автобус, который ушел из-под носа, не клеился. И другой автобус, который сломался на полпути между двумя остановками, из-за чего Ивану Петровичу пришлось, чертыхаясь и невообразимо балансируя, пробираться с полкилометра по сплошной грязи, где фальшивые кочки расплывались при малейшем прикосновении, ничуть не мешая ноге проваливаться в очередную вязкую лужу. И еще была пустая, всеми покинутая квартира, без Анны Игоревны и Игорька. И, следовательно, в перспективе замаячил поход к теще с уговорами и выговорами, с нареканиями и обвинениями в тирании.

Иван Петрович без охоты пожевал кусочек плавленого сыра, завалившийся в холодильнике, подогрел чай. В квартире стояла невероятная тишина — ни криков, ни чужих мыслей. Пустота. И от этой пустоты стало Крабову не по себе, захотелось куда-то пристроиться, но с непременным условием, что сначала его пожалеют и признают невиновным во всем случившемся.

Иван Петрович походил из угла в угол, потом почитал газету, и она показалась ему такой же пресной и безвкусной, как чай или плавленый сырок.

«Пovalяюсь», — решил он и почему-то отправился на диван в комнату сына. Здесь пахло Игорьком и было как-то спокойней.

Иван Петрович прилег и долго изучал потолок. Как попал в руки к нему Игорев револьвер, почти всамделишный кольт? Иван Петрович приставил кольт к виску и подумал, что вышла бы недурственная сцена, что многие бы вспомнили о нем и пожалели. От этой мысли сделалось теплей. Впрочем, многие ли? Он отбросил руку с кольтом подальше, глубоко вздохнул и погрузился в дрему, постепенно утащившую его в странный, ни на что не похожий сон.

7

Сначала в пульсирующем многолепестковом синем вихре явилась перед ним Фанечка Ломацкая, явилась, чтобы погрозить изящным пальчиком и сказать:

— Вы подсматриваете куда не следует, Иван Петрович. Нехорошо это. Что Семен Павлович скажет?

Но Крабов совершенно точно знал, что никакого Семена Павловича нет в природе, поскольку в природе нет никаких барьераов между ним и Файнай Васильевной. То есть, Ломацкий был, но в качестве ложного комплекса ощущений и потому не мог материализоваться, а напротив, ежесекундно распадался на атомы, подобные демокритовым шарикам с крючками, загогулинами и всякими заусеницами, придающими воспоминаниям о несостоявшемся Семене Павловиче какой-то горьковатый привкус. Пока

Крабов размышлял об исчезновении почтенного доктора, прибежал Игорек, и ухаживать за Файной Васильевной стало неудобно. Игорек нервничал и бросался на Ивана Петровича с кулачками наперевес, а Файна Васильевна повторяла:

— Вот видите, вот видите, я же говорила...

И вскоре испарилась, насмешливая и неудовлетворенная. И вслед за ней, громко топая, убежал Игорек. Сделалось пусто, но ненадолго. Снова возник синий вихрь, заполняя собою пространство, и вычертил переплетением своих завитков знакомую фигуру Макара Викентьевича Фросина при исполнении служебных обязанностей.

Фросин хитро подмигнул и в полном контрасте со своим веселым подмигиванием официально-покровительственным голосом произнес:

— Мы тут обсудили твою кандидатуру, Иван Петрович. Крепкая у тебя кандидатура.

Это звучало, как мускулатура, но Иван Петрович сразу размяк от похвалы и даже слегка пошутил:

— Я же еще не кандидат, все как-то не успеваю...

— Кандидат, кандидат,— убедительно отпарировал Макар Викентьевич.— А главное — я за тебя поручился.

И стал надвигаться, даже навис над Иваном Петровичем, причем демонические глаза его все веселей подмигивали, а челюсть все решительней выдвигалась вперед.

— Будет трудно — поможем, ты не сомневайся,— добавил он полуслепотом,— еще как поможем.

Потом он непонятным способом преобразовался и стал небольшим домом на пустой пыльной улице, а выдвинутая челюсть оказалась голубым мезонинчиком.

«Странно,— подумал Иван Петрович,— с какой стати Фросин хохмы выкидывает? Поди ж ты, акробат...»

Но чувство тревоги и ответственности охватило его, и он понял, что следит за этим домом, желая остаться незамеченным, а пустая пыльная улица — это, конечно, Подрубенская. Как в таком домишке могло образоваться двадцать три квартиры? Секрет ускользал от Ивана Петровича, и это раздражало его, но еще менее приятный факт заключался в том, что дом мыслил, вовсю думал о спасении своего непутевого хозяина Васьки. Однако, улавливая размышления в целом, Крабов никак не мог разложить их на отдельные взятые образы.

И вдруг его осенило.

«Все правильно,— догадался он.— Дом не может общаться со мной на основе человеческих понятий, ибо он принадлежит к совсем иной цивилизации. Ему плевать и на меня и на Ваську, но к Ваське он привык, быть может, по-своему любит его, и потому я должен выслеживать прохвоста среди пыли и ветра, не рискуя проникнуть

вовнутрь его друга. Но как мог Фросин предпочесть мне рядового уголовника? Зачем ему эта трухлявая ископаемая цивилизация?»

От этого открытия и от всех вопросов Ивану Петровичу сделалось муторно, хотя он и обрадовался чудом уцелевшему в нем стремлению к открытиям. Он совершенно точно знал, что Васька сейчас выйдет из дома и побежит перепрятывать седьмую икону, которая есть не что иное, как «Богоматерь владимирская», вырезанная Васькой из «Православного календаря» за прошлый год. Однако в календаре по преступной небрежности редактора оказался подлинник, и этот подлинник ни в коем случае не должен был уплыть за океан через грязные лапы гражданина Княжевича И. Г.

Потому-то Иван Петрович и дежурил на пыльной и пустой Подрубенской с белым Игоревым кольтом в руке, дежурил и все время страшно боялся, что в решающий момент кольт не захочет стрелять, поскольку Иван Петрович совершил непростительную служебную оплошность, забыв дома пистоны.

«Надо проверить, пока не поздно», — решил Крабов и поднял револьвер, целясь в окно голубого мезонинчика. Оглушительный выстрел грянул над Подрубенской. Дверь дома, на которой Иван Петрович без труда различил крупные цифры — 23, тут же открылась, и из нее вывалился Васька почему-то в немецкой каске и со шмайсером в руках.

Васька гигантскими прыжками понесся к калитке, дико вращая глазищами и громко выкрикивая:

— Скромно, понимаете, Иван Петрович, скромно и правильно.

Иван Петрович понял, что сейчас Васька обнаружит его укрытие и начнет стрелять в упор из ржавого музейного шмайсера. И тело Ивана Петровича, полное жизни и способностей к открытиям, примет жуткую раздирающую боль, сглатывая десятки пуль и превращаясь в тело умирающего, а потом и мертвого Крабова, то есть вообще никакого. Последним усилием воли он заставил себя снова поднять кольт, и Васька, уже высокочивший за калитку, вдруг отбросил свой страшный экспонат и поднял руки.

Потом они ехали на какой-то машине, Васька плакал, взахлеб рассказывая о своей нескладной жизни, и перевоспитывался на глазах. Еще в машине сидел Фросин, очень часто и от всей души жал руку Крабову и при каждом рукопожатии прикреплял к лацкану крабовского пиджака по ордену, причем Иван Петрович никак не мог сказать ответной речи — мешал плачущий Васька.

Потом Иван Петрович сидел в огромном, как футбольное поле, кабинете за отличным письменным столом

и думал, что теперь он настоящий кандидат и вот-вот приступит к масштабной работе. Но масштабности мешал все тот же Макар Викентьевич, который пристроился рядом на стуле, впрочем, на почтительном расстоянии от Ивана Петровича. Фросин брал откуда-то тонкие папки и торжественно зачитывал фамилию, имя и отчество. И сразу же из неоглядной глубины кабинета возникла гражданин, однозначно соответствующий открытой папке, и Крабов начинал легкий, иронический допрос, выясняя подлинные мысли гражданина и определяя меру его вины. Выяснив все, что надо, Крабов диктовал свои наблюдения невидимому устройству, которое принимало решение о дальнейшей судьбе гражданина.

Одни лишь приглушенные звуки — надоедливые удары, проникающие сквозь очень толстые стены кабинета, — мешали Крабову полностью сосредоточиться и подумать о том, чем, в сущности, он занимается. Но убрать звук было невозможно — Фросин растолковал, что там, за стенами, полным ходом идет сооружение прижизненного памятника Ивану Петровичу, человеку, навеки покончившему со всеми формами преступности.

В кабинете все протекало торжественно и просто. Тяжело вздыхали хищенцы и взяточники, падали на колени мошенники и мелкие хулиганы, а воздух становился все чище и высокогорней.

Судя по всему, невидимое устройство, регистрирующее наблюдения Ивана Петровича, в основном, проявляло завидную гуманность, и лишь некоторые граждане уходили из кабинета неудовлетворенные и не вполне добровольно. Почему-то в их числе оказывались лишь те, чьи мысли вызывали у Ивана Петровича удивление и даже некоторую оторопь.

Но в целом, процедура шла на редкость гладко — многие сразу же осознавали свою вину, а главное — полную бесполезность преступных замыслов в новых условиях, созданных талантом Ивана Петровича и организаторскими способностями Фросина.

Только воздуха не хватало. Определенно начиналось удушье, и Иван Петрович принимал все менее официальный вид. Он распустил галстук и попытался расстегнуть ворот, но Фросин ловко и очень сильно перехватил его руку.

— Нельзя, нельзя,— зашептал он Ивану Петровичу.— Неудобно как-то.

— Но я задыхаюсь,— прохрипел Крабов.

— Это с непривычки,— стальным шепотом пояснил Фросин.— Зато воздух! Чувствуете, какой воздух?

— Но воздуха уже нет, совсем нет,— слабо сопротивлялся Иван Петрович и сам испытывал удивление от

очевидного нарушения законов физики, согласно которым никакая беседа в безвоздушной среде невозможна.

— Сейчас мы ее вызовем,— сказал Фросин, угадывая крабовскую мысль,— вызовем и спросим, почему она нарушает законы.

— Это не она нарушает,— выдавил из себя Крабов.— Это мы нарушаем.

— Что нарушаем? — не понял Фросин.

— Ее законы...

— Это никак невозможно,— убежденно сказал Макар Викентьевич,— потому что никаких особых законов у нее нет и быть не должно. Есть наши законы, отражающие нашу действительность, потому — абсолютно истинные, и никому не дано права их нарушать. И если вы этого не понимаете, мы и вас сейчас вызовем.

Надоедливый стук за стенами кабинета сразу же исчез — то ли просто приостановилось сооружение памятника, то ли звуковые волны навсегда прекратили свое существование. Между тем, Иван Петрович отчетливо осознавал, что раздваивается, и другая, лучшая или худшая, но именно его часть, задыхаясь, понуро бредет к столу. Зато части, оставшейся в кресле, стало заметно легче дышать, вернее, не дышать, а обходиться без воздуха.

А Макар Викентьевич, продолжая выкручивать крабовскую руку, извлек новую папку и торжественно прочитал:

— Подозреваемый Иван Петрович Крабов.

— В чем подозреваемый? — не выдержал Иван Петрович, сидящий в кресле.

— А в том,— ответил Макар Викентьевич.— Вы работайте, работайте, я ведь за вас поручился.

«Ладно,— подумал сидячий вариант Ивана Петровича,— с этим толстячком мне будет попроще — даже вопросов задавать не надо».

И он принялся диктовать невидимому записывающему устройству — четко и нелицеприятно, и с каждым словом тот, другой Иван Петрович, сжался в размерах и как-то нелепо корежился. Но тут взгляды двух половинок Крабова встретились, и Иван Петрович, сидящий в кресле, ощутил настоящий испуг за их общее будущее и одновременно почувствовал, что подозреваемый втягивается в него без остатка, разоблачая тем самым его двойственную природу и наличие безобразных внутренних противоречий, а Фросин сейчас закажет семь бубей. Вместо этого совершенно логичного заказа Фросин вскочил и заверещал:

— Что же вы замолчали? Вы думаете, что у вас неловленный мизер, а я вам штуки три одной левой всажу. Вы себя покрываете, Иван Петрович, а это похуже, чем крапленая колода, намного хуже, за это не только кан-

делябром по морде положено, за это еще и на поселение угодите.

И Макар Викентьевич с невероятной силой загнул руку Крабова, отчего тот сразу же проснулся. Сильная боль действительно застяла в затекшей руке, неловко подвернутой под спину. Кроме того, ворот рубашки, которую Иван Петрович забыл снять, съехал набок и всамделишно душил его.

Иван Петрович кое-как размял руку, расстегнул воротник, изрядно натерший шею, и взглянул на часы. Они бесчувственно показывали половину шестого — спать уже поздно, а вставать на работу — рановато.

Иван Петрович пробрался на кухню, включил огонь под чайником и присел на табуретку. «Крепкая кандидатура», — мелькнула у него мысль, ухмыляющаяся и непонятно с чем связанная.

8

«А что, даже забавно как-то,— думал Крабов, с трудом удерживая равновесие на левой ноге,— был бы я великим следователем и горя не ведал бы. Никаких конфликтов с начальством — любое дело за час, как на ладони. Только одна беда — если захочется мне кого-нибудь утопить и припишу я ему вовсе не те мысли, так что ему делать? Как он докажет, например, что никогда подобных мыслей не вынашивал?»

Автобус нещадно прыгал на каких-то колдобинах, и гражданин в серой шляпе все норовил ухватить Ивана Петровича за рукав, транслируя при этом самые нецензурные мысли.

«Это ж надо — с утра выдает,— думал Иван Петрович, пытаясь подальше убрать свою руку с привлекательным рукавом плаща.— А с другой стороны, страшная вещь получается. Возьмется кто-нибудь за меня и навыдумывает таких преступлений, о которых я ни сном, ни духом не вedaю. Что будет?»

«Плохо будет», — решил он за остановку до работы.

Выпрыгнув в порывистый ветер и мелкую осеннюю изморось, Иван Петрович подумал, что все это до предела серо и неуютно, и внезапно его потянуло к чему-то светлому и огромному, оценивающему его труд в яркости света и громкости аплодисментов.

«Цирк! — понял он и зажмурился от удовольствия.— Вот истинное мое место. Второе отделение — народный гипнотизер и телепат Иван Крабов, то есть народный артист, конечно. Здорово! Угадываю мысли любого зрителя, само собой только цензурные мысли. Все смеются,

хлопают, за билетами очереди на целый квартал, гастроли в Париже и Монтевидео, афиши и аншлаги. Красота!»

Вспомнился Ивану Петровичу единственный за много лет воскресный поход в цирк с Игорьком, визжащая от восторга толпа детишек, яркий румянец на щеках очень смешного клоуна, многоцветные шарики жонглера-виртуоза и еще — изумительно стройная наездница, заработавшая слишком уж скромные, по мнению Крабова, аплодисменты.

«И Пряхина там, должно быть, нет,— думал он.— Братство артистов. Можно пить лимонад перед выходом на арену, сидя на каком-нибудь ящике с чудесами и почесывая за ухом у настоящего полосатого тигра, а наездница может подойти и запросто стрельнуть трешку до аванса или, скажем, отобрать бутылку с лимонадом, чтобы промочить горло после своего номера».

Все эти мысли образовали столь красочный хоровод, что скорость движения Крабова упала почти до нуля. Он шел, шел и никак не мог преодолеть несчастную двухсотметровку между остановкой и подъездом учреждения. Это только у самоуглубленных философов нет разницы между состоянием покоя и равномерно-прямолинейного движения. Разница есть — ее Крабов нутром чуял, сознавая, что непременно опоздает на работу и возникнут из-за этого самые неприглядные последствия. Разницу понимали и отдельные сотрудники НИИТО, рысцой идущие к финишу, легко обгоняя Ивана Петровича.

Не удивительно, что он оказался у подъезда ровно на сорок секунд позже, чем необходимо, помялся на ступенях, махнул рукой и пошел к гастроному. Ему никак не хотелось вступать в острый дисциплинарный конфликт с товарищем Пряхиным, разрушать заполнивший воображение дымчато-радужный мир.

Он занял очередь за кофе, позвонил в отдел, и милый Лидочкин голосок заверил его, что все будет в порядке, лишь бы он не опоздал к профсоюзному собранию, которое перенесено на три часа.

Во время исполнения дисциплинарного ритуала в голове Ивана Петровича родилась вполне определенная идея, которую он побоялся обозначить четким термином. Однако эта идея привела его к остановке троллейбуса в двух кварталах от гастронома, троллейбуса, на котором можно было доехать почти до самого цирка.

И через каких-то пятьдесят минут Иван Петрович входил в круглое здание.

Пожилая дама, сидящая у внутренних дверей, не удивилась его желанию встретиться с директором, но искренне посоветовала обратиться к администрации.

Не хватало еще, чтобы каждый стал беспокоить Илью Феофиловича из-за пары билетов...

Уловив эту мысль, Иван Петрович осознал, что его никто еще не воспринимает как великого артиста, мага и телепата международного класса.

«Ну, ничего — наступит и мое время», — усмехнулся он про себя и проследовал на второй этаж.

В небольшой приемной его радушно встретила симпатичная секретарь-блондинка.

— Вы по поводу Абрашиных гастролей? — улыбаясь, спросила она. — Подождите, пожалуйста, полчасика. Илья Феофилович скоро будет.

— А кто такой Абраша? — глупо признался в своей посторонности Иван Петрович.

— Абраша — это слон, — удивленно ответила блондинка. — А вы кто такой?

«А я — тигр», — хотел ответить Крабов, но решил отложить шутки на потом.

— А мне на прием к Илье Феофиловичу.

— На прием? — округлила глаза секретарь-блондинка. — А зачем на прием? Если вы из-за билетов, то...

— Да нет же, не из-за билетов, — невежливо перебил ее Иван Петрович и сразу же пожалел о своей торопливости. В сущности, было бы неплохо узнать, кто здесь главный по части билетов. Мало ли...

«А впрочем, к чему это? — подумал он. — Если устроюсь, и так буду контрамарки пачками иметь».

Сказать ему, что Илюша в министерство подался? Но ведь я уже проболталаась, что он сейчас будет. Дуреха! Если этот мопсик опять по поводу устройства дочки в цирковое училище, у Илюши на весь день настроение сядет, и не видать мне отгула...

Но поток блондинкиных размышлений был резко прерван появлением маститого человека в замшевом полупальто и с артистической шевелюрой. Он кивнул секретарь-блондинке, неопределенно скользнул взглядом по фигуре Ивана Петровича и исчез в директорском кабинете.

Минут через двадцать туда направился и Крабов, причем секретарь-блондинка предупредила его, что Илья Феофилович собирается в министерство и задерживаться никак не может.

Войдя в кабинет, Иван Петрович ощущал на миг что-то вроде священного трепета, который неизбежно нападает на всякого, переступающего внутренний порог храма искусств. Однако настроен он был решительно и потому сразу приступил к делу.

— Здравствуйте, Илья Феофилович, — произнес он твердо и торжественно.

— Приветствую, — буркнул директор. — Что у вас?

— У меня номер, отличный номер.

— Программа? — снова буркнул Илья Феофилович и протянул руку.

И тут у Ивана Петровича впервые скользнуло соображение, что проникнуть сюда не так-то просто, что талант — не единственный и, возможно, не главный ключ к этому храму, что наверняка есть какие-то подробности и требования, о которых он и не догадывается.

— Видите ли... — начал он.

— Программа, — повторил директор, не убирая протянутую руку.

— Нет у меня программы, пока нет.

— Так чего ж вы у меня время отнимаете? — резким, но пока не злым голосом спросил директор. — Вы же, надеюсь, не новичок?

— Новичок, новичок, — радостно подхватил Иван Петрович. — Я новичок; но у меня очень интересный номер.

— Так, — выдохнул Илья Феофилович, — час от часу не легче...

Он убрал руку и откинулся на спинку кресла.

— А своего льва вы в приемной оставили? — устало спросил он.

— У меня нет льва, — обиделся Крабов. — У меня есть мысли.

— Ах, мысли! — подчеркнуто серьезно воскликнул директор. — Опять по номеру Канашкиной? Так поговорили бы с ней и с постановщиком.

— Нет, Канашкина здесь ни при чем, — растерялся Иван Петрович. — Но я мысли могу угадывать.

— Ну и что? — безразлично отреагировал Илья Феофилович. — Сейчас все угадывают, без этого нельзя, без этого не проживешь.

— Все? — изумился Крабов. — Все никак не могут угадывать — это было бы противоестественно. Но я могу.

— Вы сами себе противоречите, дорогой, — совсем уж запросто сказал Илья Феофилович. — Нелогично! Не станете же вы утверждать, что обладаете противоестественными способностями?

— Конечно, не стану, — растерянно согласился Крабов, но тут же поправился. — То есть, стану, потому что умею.

— Да? — весело переспросил директор. — Ну-с, и что же я сейчас думаю?

— Вы думаете о том, что неплохо бы мне, доморощенному телепату, выйти из вашего кабинета и никогда в нем не появляться, — предельно вежливо перевел Иван Петрович.

Илья Феофилович засмеялся взахлеб, широко и безудержно.

— Ну, радуйтесь, радуйтесь, — прохрипел он сквозь выступившие слезы. — Вам удался редчайший фокус —

насмешить директора цирка, которому при любой клоунской репризе ничего, кроме квартального плана да гастрольных конфликтов, не видится.

Вдосталь насмеявшись, он перешел на вполне серьезный тон:

— Вы ведь сами понимаете, что это сущая ерунда. Не надо быть телепатом, чтобы догадаться о моих мыслях в настоящий момент. Конечно, я мысленно желаю вам, простите, пойти ко всем чертям. Но это слишком естественно — того же самого желают все руководители, к которым с утра пораньше приходят с проектами вечных двигателей, художественного оформления общественных туалетов и планами установления всеобщего равенства. Более того, я могу еще лучше угадать ваши мысли. Вам надоела ваша скучная работа. Однажды в этой пятилетке вы отвели сюда своего сына и подумали, что жизнь циркового артиста, который вовсю дурачится на арене, получая зарплату плюс сертификаты после заграничных гастролей, куда привлекательней. Возможно, вы попытались стать жонглером — с этого многие начинают. Но, переколотив полсервиса и сильно нарушив семейное равновесие, вы решили пойти по легчайшему пути. Подумаешь — угадывать мысли! Они ведь у всех такие похожие. Не надо ни кувыркаться, ни цепляться за трапеции под куполом, а? Я прав?

«Откуда он знает про поход с Игорьком? — подумал Иван Петрович. — И при чем здесь сервис?»

— Я прав? — переспросил Илья Феофилович.

— Да, вы правы, — ответил Крабов, — правы в том, что из нашего разговора может получиться неплохой анекдот, и за ужином вы расскажете его Ирине Сергеевне.

Илья Феофилович на миг опешил, но тут же собрался с мыслями и пошел в атаку:

— Ах, хитрец! Заранее выяснили кое-что о моей семье, да? Но разве это угадывание мыслей?

А мысли Ильи Феофиловича шли рассыпным строем и вытворяли такие зигзаги, что ни в одну из них нельзя было толком прицелиться. И Иван Петрович решился на подлог.

— Вы ждете посетителя по поводу гастролей слона Абраши?

— Да, жду, — спокойно отбился директор. — Но об этом вам могла сообщить Ксюша в приемной, не так ли?

— Правильно, — честно признался Крабов и решил временно снять запрет на натурализм, — но о том, что Подругин — алкоголизированная скотина, опаздывающая всюду, кроме пивной, она мне не говорила. Это ваши мысли.

— Хм, — вздрогнул Илья Феофилович и густо покраснел. — Но, видите ли, и в этом нет ничего удивитель-

ного. Вы знали, что Подругин должен был прийти примерно час назад. Вы прекрасно понимаете, что я не доволен его опозданием. А насчет скотины — это вы случайно пальцем в небо...

— Илья Феофилович, сколько денег у вас с собой? — вдруг решился Крабов.

Так! Небось пятерку попросить хочет. Три червонца в бумажнике, рубль с мелочью в кармане и полсотни в заначке...

Такие мысли прогенерировал директор, а вслух спросил:

— Зачем вам знать?

— Илья Феофилович,— торжествующе начал Крабов,— я не собираюсь стрелять у вас пятерку. У вас сейчас восемьдесят один рубль с мелочью. Правильно?

— Да-да,— выдавил из себя ошарашенный директор.— А откуда вы знаете?

— Я же угадал ваши мысли...

Ого! Вот этого он не мог так просто узнать. Мистика! А вдруг через Ирину? Нет, исключено. Про заначку она знать не может, ни в коем случае не может. Но откуда? Опасный тип. И вообще, мы один на один. Вдруг ударит. Нет, на хулигана не похож. Теперь еще не хватало, чтобы он узнал про колечко для Канашкиной в кармане пальто...

— И еще, Илья Феофилович,— продолжал Крабов,— в кармане вашего пальто лежит одно колечко...

Кошмарики! Все обо мне вынюхал. Теперь ославит. Еще и Ирина узнает! Что творится, что творится! И как быть? Послать к черту — чего доброго, домой заявится. А если нет, то опять-таки, что делать? Выпустить этого умельца перед комиссией, так он полную арену дров наломает. Свинство какое-то! Телепат дерзмовый выискал-ся на мою голову...

— Дорогой товарищ,— произнес он вслух,— все это не очень-то убедительно. Телепатии нет и не может быть. Сделаем так. Вы зайдите ко мне в пятницу, часикам к одиннадцати, и мы вас с удовольствием посмотрим. Только принесите объяснение ваших опытов в двух экземплярах. Обязательно в двух экземплярах на машинке. А сейчас я очень тороплюсь.

Иван Петрович возликовал. Он уже знал, что Илья Феофилович никуда не торопится, что прием в министерстве назначен на завтра, что директор будет волей-неволей дожидаться Подругина, а после обеда — осматривать большую течь в потолке костюмерной, что до пятницы директор рассчитывает найти способ выставить ясновидящего вон. Он многое знал, но чего стоят все наши знания рядом с надеждой на новую жизнь! Он хотел, чтобы по-быстрей наступила пятница, сквозь которую будет сделан первый шаг к иным горизонтам.

Крабов вежливо попрощался с Ильей Феофиловичем и секретарь-блондинкой Ксюшей и решил целую остановку пройти пешком.

«Понедельник — тяжелый день,— думал Иван Петрович по пути.— Все дела следует начинать во вторник, и тогда успех обеспечен. Представляю, какую рожу скорчит Выгонов, когда узнает, что меня приняли в цирк».

9

Иван Петрович, как на крыльях, мчался на собрание. Ему немного нагорело за несвоевременную уплату взносов, кое-кто обстрелял его не слишком лестными мыслями, но все это казалось преизрядной чепухой.

И только у самого подъезда он пришел в себя и вспомнил, что жизнь складывается не столь уж благополучно. С визитом к теще не следовало тянуть — по некоторым данным Иван Петрович мог быть уверен, что размер выкупа стремительно возрастает с каждым днем.

С другой стороны, именно сегодня Крабову предстояло явиться на банкет по случаю успешной защиты родного брата и представлять там гордых и счастливых родственников. Собственно, защита диссертации уже прошла, и никаких данных о голосовании у Ивана Петровича не было. Но сомнений в том, что все завершилось по-хорошему, у него не было тоже. Федя двенадцать лет высиживал свое физико-математическое детище и, судя по должности, имел отличные, а скорее всего, даже удобные отношения с начальством. А посему ни у кого не могло возникнуть ни малейших сомнений в запланированном на текущий квартал триумфе Федора Петровича.

Не очень-то хотелось заявляться на банкет в одиночку. Супруга старшенького Мария Филатовна непременно обыграет это одиночество во время ближайшей встречи с Анной Игоревной. При всем том, Федя очень прозрачно намекнул брату, что приглашает сотрудников без жен, имея ввиду ограничиться тридцатью семью посадочными местами. Опять-таки совместный поход с Аннушкой неизбежно привел бы к тяжелейшему разговору на обратном пути, когда она по старой привычке станет жаловаться Богу и по-ночному сгустившейся осени, что, дескать, хотелось бы взять такси, да разве с таким мужем позволишь себе подобную роскошь. Это другие думают о благосостоянии семьи, заботятся о зимней экипировке жены, не говоря уж о своем общественном положении. И пойдет, и пойдет... В этом плане банкет брата открывал слишком широкие перспективы для семейной драмы.

Так что, ситуация складывалась явно в пользу холостяцкого похода. Иван Петрович переодел рубашку, почти

модно вывязал галстук и даже пару минут спокойно посидел в кресле и покурил.

В банкетный зал он прибыл одним из первых. Маша сразу сообщила, что только двое мерзавцев безуспешно покушались своими черными шарами на научную карьеру ее мужа, и взяла Крабова-младшего в хозяйственный оборот. Ивану Петровичу была поручена важнейшая миссия — подавать собственное спиртное, спрятанное в двух ящиках за аккуратной занавеской, отделяющей зал от подсобки. Отсюда Иван Петрович сделал вывод о своем безусловно далеком месте за столом, ибо где ж ему сидеть, как не напротив занавески?

Он все прекрасно понимал и ни капельки не обижался, однако скользнуло в нем какое-то темное чувство навеки закрепляемой между ним и братом дистанции. Об отсутствии Анны Игоревны никто не спросил. Только среди вороха организационных хлопот проскочило в мыслях Марии Филатовны нечто вроде:

...Слава богу, без Аньки — хоть раз мужика отпустила на дармовщинку попить...

Но к таким естественным поворотам Иван Петрович уже привык — стоило ли обижаться...

«Ведь вот,— думал он,— Илья Феофилович тоже меня за мошенника принял, а потом решил комиссию собрать. Человек изнутри всегда должен быть иным, не совпадать со своей наружностью. Общение действует, как фильтр, а меня никто и не просит лазить в неочищенные воды внутренних миров».

Размышления показались Ивану Петровичу интересными и приятными, и он решил продолжить их с определенной целью — ради тоста, который ему неизбежно предстоит сказать. Идея о неочищенных водах внутреннего мира дала Крабову отличный толчок.

Дело в том, что Федор Петрович работал как раз над модными экологическими проблемами. Вернее, не над глобальными проблемами защиты Земли от безудержной изобретательности *homo sapiens*, а над некой частной задачей использования того-то и того-то, чтобы то-то и то-то отделить от другого. Задача была умело подвязана к экологии да еще и закрыта, то есть пропущена по плану секретных работ. Это создавало, так сказать, двойную гарантию успеха. Малой толикой гарантий и решил воспользоваться Иван Петрович — теперь он собирался остроумно сыграть на братовой теме и показать этим физикам, что простые смертные тоже способны кое в чем разобраться.

И опять же следовало любой ценой подтвердить ту рекомендацию, которую Федя давал ему во время предбанкетных знакомств. Брат-социолог — это звучит неплохо. Один милый старичок даже подсел к Ивану Петровичу

и стал задавать пакостные вопросы по поводу произвольности микросоциологических тестовых параметров и вообще, так что по вопросам можно было вывести совершенно нелепое заключение о полном незнамстве старика не только с основами социологии, но и с такими общеначальными факторами, как Макар Трифонович Филиппов и товарищ Пряхин.

Легко отдалвшись от старика, которого вскоре уташили в достаточно почетный угол, Иван Петрович углубился в конструирование тоста, причем углубился настолько, что чуть не проморгал открытия банкета, когда тамада, похихикивая и потирая руки, хорошо поставленным голосом выдал оригинальное вступление — пора, дескать, перейти к неофициальной части заседания Ученого Совета.

Все выпили и закусили. Еще раз сказали тост и выпили. Еще раз...

Тут Ивану Петровичу прислушаться бы повнимательней к тому, что говорится вслух, а главное — не говорится, а думается, проигрывается внутри выпивающих и закусывающих товарищей брата в обход всяких фильтров деликатности.

Увлеченность собственными фантазиями и творческими виражами никого еще не доводила до добра. Но редко с кем происходил такой публичный конфуз, как с Иваном Петровичем.

Он зарделся, услыхав слова тамады:

— А теперь попросим сказать о докторанте его уважаемого брата, который по роду своей интересной профессии сумеет осветить вопрос с социологической точки зрения.

На момент Ивану Петровичу показалось (не три ли рюмки тому виной?), что он уже принят в цирк, но почему-то на должность осветителя, и сейчас будет помогать важному вопросу исполнить свой номер, должным образом его осветив. Но в софите что-то испорчено, и вместо красивого золотистого пятна по арене мечется маленькая сверхъяркая точка, и, соприкасаясь с чем-либо, она немедленно порождает ослепительное сияние. Испугавшись темноты, вопрос запутывается в подкупольных проволочных конструкциях и шлепается на арену прямо под страшный огненный гриненник.

Несмотря на дурное предзнаменование, Иван Петрович смело приступил к исполнению братского долга.

— Я очень рад, — начал он серьезно и почти торжественно, — что скромный труд моего брата высоко оценен специалистами и всеми коллегами. Не сомневаюсь, что его работа достойна всяческих похвал. Экология, к которой, насколько я понимаю, приложил силы мой брат, — наука

с большим будущим. Ведь ни один из нас не хочет, чтобы мы или наши дети оказались в экологической нише, сильно смахивающей на нишу в кладбищенской стене...

Вдоль стола прокатился хохоток, и сразу же все смолкли, повернув головы в сторону Ивана Петровича. А у него, как назло, выскочил из памяти гладкий переход от ниши к остроумному заключению.

— Да,— повторил он,— сильно смахивающей... Но это звучит мрачно, а у нас сегодня радостное событие. Я хотел сказать... хотел сказать... Ну, в общем, чем больше науки в смысле охраны материальной среды, тем меньше засоряется среда интеллектуальная. Выпьем за это!

Призыв Ивана Петровича ощутимо повис в прокуренном воздухе банкетного зала. Стало совсем тихо, как в будние дни у упомянуть им стены. Где-то неподалеку бухал оркестр и повизгивала певица, подчеркивая эту напряженную тишину, в которой призыв плывал, как хитрый самоубийца в Мертвом море.

У Крабова-старшего лицо пошло красноватыми пятнами и улыбка сделалась столь зловещей, что Иван Петрович уже прикидывал, в какую сторону нырнуть, если в него полетит пустая бутылка.

Но, вероятно, в душе тамады проснулся истинный артист, играющий свою роль до конца, даже осознав, что бутафорские пистолеты по вине помрежа заменены. Он встал и заголосил:

— Товарищи, как бы там ни было, идея правильная, социологически выверенная — выпьем! Это всегда помогает!

Компания зашевелилась — выпили, стали закусывать, о чем-то оживленно шептаться, переглядываться. До Ивана Петровича долетали отдельные иронические разряды.

Ну, семейка... Свинью подложил... Вроде не было его на защите... Почти по Варравину... Ниже пояса...

Постепенно, минут за пять, из этих лоскутиков склеилась кошмарная картина. Иван Петрович понял, что Федина кандидатская была поставлена на защиту при одном резко отрицательном отзыве, подписанном профессором Варравиным. К счастью, Варравин — не официальный оппонент, он просто прислал письмо. В письме содержалось сравнение работы Крабова-старшего с ручным подсчетом логарифмов до семнадцатого десятичного знака, а диссертация и опубликованные статьи Феди определялись как типичное засорение окружающей интеллектуальной среды. Кроме того, Варравин как следует проехался по поводу бессмысленного засекречивания Фединой работы, исходные положения и выводы которой были известны во всех развивающихся государствах и могли заинтересо-

вать разве что папуасскую разведку и то в сугубо юмористических целях. Но главное и самое любопытное из уловленного Иваном Петровичем заключалось в том, что все, как один, внутренне соглашались с Варравиным, и лишь фильтр деликатности и еще кое-какие благоприобретенные фильтры убеждали их в неизбежности и полной законности Фединой защиты.

Федя и особенно Мария Филатовна были до крайности оскорблены, из глаз их вылетали молнии погарче огненной иглы, померещившейся Ивану Петровичу перед тостом.

Выяснив, что Федя искренне желает ему провалиться сквозь землю и вообще кипит от негодования, Иван Петрович потихоньку, бочком-бочком, покинул свой пост и выскользнул из зала. С трудом отыскав номерок, он схватил плащ и поехал домой.

Очередную неприятность он принял сравнительно спокойно. «Оригинальные способности всегда приводят к странным последствиям,— думал он по пути.— Чем ближе мы к среднестатистической единице, тем счастливей. На нас не за что роптать, и нам, соответственно, не на что. И под мышками не режет — мир скроен, как по заказу...»

Добравшись до дома, он почувствовал пронизывающую усталость. Все напряжение дня разрядилось в нем, замелькало каруселью случайных образов, и он уснул, едва дотянув до постели. Вернее, не уснул, а окунулся в непонятные и увлекательные приключения.

10

Все началось со стремительного падения из полной темноты в ярко освещенный кружок. Кружок расширился, наполняясь тусклово-красным отливом ковра, и стал обычной ареной, почему-то обтянутой тонкой и прочной сеткой для защиты от хищников.

Иван Петрович почувствовал, что не расшибся, а, на против, приземлился мягко и даже красиво.

«Что за глупости? — подумал он, раскланиваясь в неизвестно чёрное пространство за металлической сеткой, где угадывался гул восторга или просто волнообразная работа гигантской, возможно, живой машины.— С какой стати меня заставляют делать прыжки из-под самого купола, к тому же без всякой страховки?»

Абсолютно чёрная живая машина за сеткой испускала нечто вроде вздохов, но ни одной мысли в обычном смысле слова Крабов угадать не мог. Доносился лишь отрывочные междометия, а может, просто протяжные хоровые сочетания, как в классе подготовишек:

A-a-a... Y-y-y... O-o-o-go!.. O-o!..

Ему стало не по себе.

Но тут на арену выбежал Илья Феофилович, роскошно потряхивая седой гривой и для пущего эффекта прищелкивая длинным бичом.

— Выступает заслуженный кандидат цирковых наук Иван Крабов с группой дрессированных зрителей! — нараспев произнес он.— Смельчаков прошу пройти к арене. Любые мысли будут угаданы на любом расстоянии. Победителей ожидает квартальная премия.

Казалось, купол расколется от грохота — странный взрыв аплодисментов, ибо ни одного отдельного хлопка Иван Петрович различить не сумел. Возможно, черная машина выражала свой восторг иным образом.

«Интересно,— думал Крабов,— кто от кого отгорожен сеткой — они от меня или я от них? И к чему этот дурацкий хлыст? Разве я дрессированный кандидат? Тоже мне, тигра полосатая...»

Внезапно Иван Петрович оскалился и злобно зарычал. Собственно, без особого энтузиазма, а так, играючи, как бы сливаясь с ситуацией. Но ничего хорошего из этой шутки не вышло, потому что Илья Феофилович резко щелкнул бичом перед самым носом Крабова и коротко бросил:

— Сидеть!

«Почему сидеть? — свербнуло Ивана Петровича.— За что? Я же никаких таких мыслей не имел, наоборот, сам распознавал...»

Однако спорить с грозной и позорной силой, таящейся в биче, было опасно. Тем более, что вблизи сетки маячила мощная фигура товарища Пряхина с Игоревым кольтом в руке, и шутить фигура явно не собиралась.

Смельчаки как-то повывелись, долго никому не хотелось погружать Ивана Петровича в свои неотфильтрованные глубины.

Наконец, темное пространство вблизи одной из ячеек сетки сгустилось, и образовался человек, очень похожий на Крабова.

«Федя, конечно же, он»,— решил Иван Петрович, и на душе у него заметно полегчало.

Все-таки цирк — это цирк, и черная машина за сеткой — всего-навсего затемненная человеческая масса.

«Возможно, Федя и его коллеги изобрели какой-то особый черный свет и цирковые софиты специально освещают им людей, чтобы арена с этой нелепой клеткой выглядела ярче, а люди не отвлекались от представления, разглядывая друг друга»,— пронеслась в голове Ивана Петровича физически нелепая мысль, причем он сам полностью осознавал ее нелепость.

Он так и не успел доказать невозможность черного света, когда началась мощная генерация со стороны брата:

Ну, ты, жалкий неудачник, угадывай, угадывай. Ты родился осталопом и осталопом помрешь. Ты мне завидуешь, потому что я солидный и обстоятельный человек, нужный человек на нужном посту, даже с семнадцатым десятичным знаком я нужный человек, а ты, ты завидуешь мне черной завистью, принимая ее за какой-то черный свет, и еще измышиляешь, клевещешь, что такие, как я, его нарочно изобрели — как же, торопились перевыполнить именно к твоему идиотскому выступлению! Хочешь стать солидным человеком и не можешь и постепенно превращаешься в мелкого расщепенца со своим законом сохранения внутреннего мира. Было бы что сохранять! Да, я зубами по крошкам выгрыз свою диссертацию, а ты никогда ничего не выгрызешь, потому что думаешь не о том... Дали тебе по шапке с твоей идеей реальной личности, со всяими подозрительными теориями, дали, и ты заткнулся. Я думал — навеки заткнулся, а ты еще злобой брызжешь, змей ядовитый... Ну, угадывай мои мысли, говори их вслух, говори...

Иван Петрович ошелел и почувствовал, что не способен произнести ни одного слова. Разоблачать пакостные излияния Феди перед публикой он никак не хотел и вообще не хотел выставлять напоказ свое родство. Он с удовольствием промолчал бы совсем, но Илья Феофилович грозно щелкнул бичом, и Крабов-младший решил не доводить дело до греха.

— В голове этого товарища я не нашел ни единой мысли,— сказал он.— Попрошу выйти кого-нибудь другого и подумать о чем-то конкретном, скажем, вспомнить о юношеской мечте.

Цирк взревел, и Иван Петрович даже испугался за ту поспешность, с которой брат был втянут обратно в окутанную черным светом массу.

Перед сеткой возникла Фанечка в домашнем халатике. «Странно, неужели Ломацкий экономит на ее нарядах?»,— подумал Крабов и без труда прочитал ее мысли.

Она хотела стать актрисой, не обязательно великой, но все равно не стала, а сейчас очень хочет добыть полный комплект французских теней, но никак не удается. Фанечка грустно кивала головой, а Илья Феофилович одобрительно прищекивал — дескать, смотрите, какой качественный фокус в моем цирке показывают!

Потом появился сам Ломацкий. Крабов сразу же понял, что Семену Павловичу никогда и не снилась карьера венеролога, он мечтал всерьез заняться иглоукалыванием и даже съездить в Китай, но что-то забарахлило — то ли в биографии Семена Павловича, то ли во взглядах верных

сынов председателя Мао, то ли и в том и в другом одновременно. Постепенно все улеглось — долго не укладывалось, но улеглось,— на данный момент Семен Павлович, можно сказать, счастлив своей всемирной уравновешенностью, а не хватает ему малого — очень хочется сыграть как-нибудь мизер втемную и, пожалуй, добыть комплект теней для Фанечки.

Как-то очень быстро промелькнул Аронов в старой коричневой шляпе и в очках, с толстой рукописью под мышкой. Из его сумбурных мыслей Иван Петрович четко уловил лишь одно — роман, который так и называется «Мизер втемную», Михаил Львович пишет уже шесть лет, и в этом романе выведен главный герой, очень похожий на Ломацкого как в смысле своего жизненного пути, так и в смысле характера.

Промелькнули кассирша Светочка, несостоявшаяся балерина, и дрессировщик Подругин со слоном Абрашай и затаенной тягой к абсолютно трезвой жизни. Потом пошли совсем незнакомые личности, и у каждого были свои иногда очень интересные замыслы, далеко не всегда исполнявшиеся, но всегда большие и чистые. От этих замыслов даже черный свет за металлической сеткой немного размылся и посерел.

Иван Петрович легко читал любые мысли и радовался, что его дебют проходит триумфально, ибо Илья Феофилович, вполне довольный своим подопечным, совсем забросил бич и расслабленно развалился в невесть откуда возникшем кресле за своим невесть откуда взявшимся письменным столом.

Крабов умело регулировал поток информации, иногда обходил молчанием слишком острые мечты испытуемых, иногда смягчал и сглаживал, и все были довольны.

И вдруг он уловил ясную трансляцию Ильи Феофиловича:

Ничего себе цирк. Я думал, этот тип — обычный маньяк, а он настоящий талант и очень уж ловко угадывает чужие мысли, хотя такого нет и не может быть никогда. Значит, он нарушает законы, и как бы не подумали, что я этим нарушениям вовсю способствую. Представление придется прекратить, а его оставить в клетке, пусть погибнется своими догадками обо мне и Канашкиной. И пожалуй, пора полить его черным светом...

«Что за ерунда? — подумал Иван Петрович.— Ведь никакого черного света в природе не должно быть. Но с другой стороны, в природе нет места и для чтения чужих мыслей, и для многих прочитанных мною мыслей тоже не должно найтись места. Неужели вокруг моей скромной личности образовалось какое-то завихрение,

нарушающее правильный порядок? Наверное, возникло, иначе не стал бы Илья Феофилович держать меня в клетке».

Он повернулся к письменному столу, желая честно признать свою вину, но Ильи Феофиловича там не было. Вместо него за столом сидел Макар Викентьевич Фросин и исполнял служебные обязанности, пронзительно глядя в грешную душу Крабова немигающими глазами. И арена превратилась в кабинет Фросина, а у дверей кабинета, затянутых все той же цирковой сеткой, кривлялся Пыпин, выкрикивая:

— Вот видите, гражданин следователь, кого вы пригрели... Я же ангел божий по сравнению с этим типом...

Фросин махнул рукой, и у гражданина Пыпина сразу же выросли за спиной прелестные белые крыльшки. Пыпин вспорхнул, немного полетал у потолка и исчез куда-то, возможно, втянулся в специальное устройство для отсасывания отбросов общества. На столе у Макара Викентьевича задребезжал телефон. Крабов моментально понял, что звонят откуда следует, причем не вообще откуда следует, а оттуда. Звонили из гигантского кабинета Ивана Петровича, а именно звонил тот Фросин, листающий тонкие папки с личными делами и запрещающий тому Ивану Петровичу расстегнуть ворот рубашки и привести себя в неподобающий вид. Фросин на этом конце провода все сильней хмурился, получая все более важные сведения по крабовскому делу.

Потом он положил трубку на стол и направил на Ивана Петровича мощную лампу. Иван Петрович тут же почувствовал, что исчезает, поскольку лампа поливает его сильным потоком черного света. Когда Крабов стал единственным темным пятном в светлом и четком кабинете, Макар Викентьевич достал из стенного шкафа огромную кувалду и принял изо всех сил колотить по крабовской голове. Это было очень звонко, но совсем не больно, а лежащая на столе телефонная трубка даже немного повернулась, чтобы внимательно слушать и, возможно, считать удары.

«Так вот что за надоедливый звук! — обрадовался Иван Петрович.— А я почему-то решил, что это прижизненный памятник ставят. Странная работа, и Фросин не очень-то смахивает на Микеланджело или на Родена. Но зачем он так старается?»

— У меня как раз сломалась вешалка,— ухмыльнулся Макар Викентьевич, легко и точно угадывая мысли Крабова,— а гвоздей нет под рукой.

«Возможно, я самый крепкий гвоздь в мире,— лестно подумал о себе Иван Петрович, но вслух ничего не сказал.— А Фросин — лучший в мире скульптор человеческих душ».

Между тем, Макар Викентьевич завершил свою работу, спрятал кувалду в шкаф и повесил на Ивана Петровича

свою форменную фуражку, которую он по роду своей службы так и не успел ни разу надеть. Это действие наполнило Крабова до чертиков противным ощущением собственной полезности.

Поскольку удары прекратились, Иван Петрович легко вычислил своей головой, превратившейся в отличную шляпку гвоздя, что как раз в этот момент там, в другом кабинете, другой Иван Петрович втягивает в себя своего двойника, грубо нарушая ритуал допроса и полагая, что сооружение памятника приостановлено из-за этого нарушения.

Фросин открыл дверь и громко объявил:

— Следующий!

Иван Петрович услыхал бодрый детский топоток, и понял, что в кабинет заскочил Игорь. Игорек плакал, топал ножками и бросался на Фросина с острыми кулачками, а тот прыгал по кабинету и смеялся, довольный этой внезапно подвернувшейся игрой.

Забыв, что перекованные обладают несколько иным спектром чувств, Иван Петрович хотел было прослезиться, но кто-то из бегающих по кабинету схватил кувалду и стал бить по его шляпке. Сначала Иван Петрович пытался протестовать, даже бормотал что-то о недопустимости ударов по форменной фуражке Фросина, но он слишком быстро погружался в стену, а удары становились все болезненней и чаще...

В этот безусловно интересный момент Иван Петрович проснулся оттого, что голова его совсем низко свесилась с дивана, и кровь бешено запульсировала в висках.

Он метнул голову на подушку, сразу полегчало, но вместе с резкой головной болью отлетел и сон. Приоткрыв один глаз, Иван Петрович взглянул на часы и ужаснулся. Где-то на другом конце города товарищ Пряхин уже готовился принять в свои объятия первых нарушителей трудовой дисциплины, а нарушители, подъезжающие к нужной остановке, уже облизывались при мысли о чашечке горячего кофе и шарили по карманам в поисках двушки...

11

Спасительная идея забрезжила перед Иваном Петровичем во время скоростного чаепития. Он ясно вспомнил, что именно в среду должен заехать на один из заводов за анкетами. Правда, после обеда, но это не столь существенно.

Иван Петрович сразу же выбежал к автомату и позвонил в отдел. Отдел собственным голосом Макара Трифоновича Филиппова ответил ему, что применять один

и тот же прием два раза подряд некрасиво, и вообще... Однако посещение завода соответствовало графику, так что голос Филиппова в конце концов милостиво согласился.

Душа Ивана Петровича отчасти воспарила. На завод можно было не спешить — часок-другой наверняка оставался.

Крабов позавтракал остатками семейных запасов и решил немедленно идти в гастроном. В холодильнике воцарился прохладный космический вакуум. А полноценную жизнь следовало еще завоевывать, причем не позднее сегодняшнего вечера. И все дальнейшие размышления Ивана Петровича так или иначе связывались с планами стратегического маневрирования на тещиной территории.

И в этом вроде бы до предела насыщенном течении событий случилось с Иваном Петровичем нечто выдающееся.

Отоварившись в гастрономе бутылкой пива, хлебом и плавлеными сырками, он немного постоял за сосисками, но махнул рукой — долго. У кассы, где сидела Светочка, Иван Петрович выяснил, что кавалер ее окончательно бросил, а из одолженных сорока трех рублей вернулся пока меньше половины, что грузчик Серега не дает ей теперь прохода, пристает с глупостями, но на его вечно подградусную физиономию смотреть противно. Обдумывая положение Светланы в социологическом аспекте, Крабов стал спускаться по ступенькам.

На последней ступеньке стояла девушка — в общем, довольно миловидное создание в красном беретике, — стояла и как-то неопределенно оглядывалась по сторонам. Проходя мимо, Крабов уловил поток простых мыслей, которые нетрудно было разгадать и без всякой телепатии.

Кто бы помог доволочь эту сумицу до остановки? Никто ведь не поможет. Хоть бы кругломорденький полюбезничал...

Что-то несвоевременное словно толкнуло Ивана Петровича под язык. Он подскочил к миловидной девушке и совсем не своим, разбитным тоном предложил:

— Хотите, помогу? Грешно ведь такими ручками таскать такие сумки...

Девушка, разумеется, удивились, и, разумеется, в глазах ее на мгновение вспыхнул огонек протеста. Но, видимо, Иван Петрович представлял собой достаточно безобидный тип приставалы — из тех, на которых воду взят, и поэтому девушка тихо ответила:

— Пожалуйста, если можете.

Сумка оказалась на самом деле не из легких, и жалкая авоська Ивана Петровича не могла составить ей никакого заметного противовеса. Отступать было поздно, тем более,

что коммуникабельность миловидного создания стремительно возрастала.

— Это я тетушке везу,— зашебетала она,— а другой ее племянник, но не мой родной брат, здесь работает. А вам не тяжело? А хотите, я вам палочку сухой колбасы устрою?

«У тетушки свадьба или просто зверский аппетит,— подумал Крабов, когда в полусотне метров от остановки автобуса ему безудержно захотелось бросить сумку.— Что я творю? Вместо того, чтобы сидеть на работе, разгуливаю с девчонкой, у которой наверняка есть парень — не мне чета. Ну и глупости, ну и глупости...»

Однако он героически довел девчонку до остановки и внезапно (уж не было ли замешано здесь его расщепленство?) спросил ее насчет свободного времени. Сразу же выяснилось, что у Лены — именно так ее звали — время есть, например, завтра она с удовольствием сходила бы на новый фильм в «Октябрь».

Легкая победа удивляет нас не меньше самого тяжкого поражения. Удивлению Ивана Петровича не дал развиться в неограниченное чувство восторга лишь подошедший автобус.

«Без десяти шесть у «Октября», без десяти шесть у «Октября»,— ликовал он по пути домой, радостно помахивая авоськой.— Ай да Ванька, ай да молодец!» Бутерброд со стаканом пива привел его в отличную форму, только зеркало в прихожей немножко охладило вопросом:

— Зачем ты ей нужен?

Впрочем, Иван Петрович был уверен, что вопрос произвучал откуда-то изнутри, и, если он даже угадал мысли зеркала, все равно это были мысли отраженные, то есть его собственные сомнения. А сомнения — основа всякого познания. Уж в это — во что, во что, но в это! — Иван Петрович верил безгранично. Потому неделикатность зеркала не слишком его обидела. Да и обижаться было некогда и не на кого.

На заводе Иван Петрович узнал, что анкеты уже готовы. Предприятие вообще славилось всевозможной досрочностью, так что удивляться досрочному заполнению анкеток никак не приходилось.

Остальную часть рабочего дня Иван Петрович посвятил подготовке бумаг к машинной обработке, и чувствовал он себя крайне легко и даже весело.

Только к семнадцати ноль-ноль настроение слегка поползло вниз — Иван Петрович понял, что поход к теще стал близкой неизбежностью.

Теща Крабова, Софья Сергеевна, была человеком бесспорно могучим — из тех, что гибнут зазря в круговороти мелких семейных заварушек или в многообразии профкомовских конфликтов. Ей следовало бы возглавлять клан Алой или Белой розы, на худой конец, руководить работой небольшого райисполкома. При таком истинном масштабе личности прокрустово ложе скромной учительской должности оказывало на Софью Сергеевну странное деформирующее действие. Это ложе, упаси бог, не лишило Софью Сергеевну головы или конечностей, но, подобно всякому слишком тесному вместилищу, оставляло уйму потеков и натертостей, а в слабых местах и само трещало по всем швам.

Неудовлетворенные административные способности Софьи Сергеевны своеобразно спроектировались на ее семью. Семья эта долгое время ходила по струнке и ссыла образцовой. Но в какой-то момент супруг Софьи Сергеевны, несостоявшийся крабовский тестя, со струнки скользнул и смылся неведомо куда и с кем, а ее старший сын наглухо засел где-то на Севере и более чем на три дня в период отпуска у строгой своей матери не задерживался.

Такая предательская политика ближайшей родни привела к естественной, но весьма опасной ориентации тещи, ибо, вся ее деятельная душа сконцентрировалась на воспитании семейства своей дочери. Образовавшуюся систему проще всего было бы назвать протекторатом, но боюсь, что эта аналогия ни в коей мере не отразит истинного могущества Софьи Сергеевны и ее реальных полномочий. Коротко говоря, она непрерывно желала добра своей Аннушке, причем в таком объеме, что все это добро уже не умещалось в сознании Ивана Петровича.

Софья Сергеевна никогда не вмешивалась в мелочи, и в этом смысле она относилась к редкому типу тещ, заслуживающих самых высоких похвал. Но в принципиальных вопросах она всегда оказывалась на уровне, недостижимом для скромной логики Крабова. А к кругу принципиальных вопросов могло быть причислено многое, и нередко Ивану Петровичу мерещилось, что радиус этого круга все быстрей стремится к бесконечности.

Сказанного более чем достаточно, чтобы оценить всю глубину переживаний Крабова в тот момент, когда он позвонил у порога тещиной квартиры. Софья Сергеевна открыла ему дверь, прошила тридцатисекундным пронзительно-испытывающим взглядом и со вздохом сказала:

— Заходи, Ваня, заходи, хорошо, что ты появился.

Иван Петрович скинул плащ и бочком протиснулся в зал как раз в тот момент, когда хлопнула дверь смежной комнаты и из-за нее донеслось недовольное повизгивание Игорька и резкий шепот Анны. По экрану вмиг осиротевшего телевизора бежали какие-то любопытные кадры, одновременно очевидные и невероятные.

— Безобразие какое! — гневно выговорила Софья Сергеевна, претискиваясь вслед за Крабовым.— Сколько раз Анюте твердила — Игорек к полдевятого должен быть в постели, а тут десятый час и никакого порядка.

Она прошла на кухню, зажгла огонь под чайником и гораздо спокойней позвала Крабова:

— Выключай, Ваня, машину и иди сюда, чаек пить будем.

Иван Петрович выключил телевизор, потом по-хозяйски пресек расход электроэнергии в солнцеобразной люстре и неспешно направился на свое традиционное место у кухонного окна, где ему обычно разрешалось выкурить сигаретку под более или менее краткую лекцию по семейной социологии.

— Брак, Ваня,— серьезная штука,— сразу же начала Софья Сергеевна, регулируя газ под чайником.— Я педагогикой занимаюсь больше лет, чем тебе по паспорту значится, и прямо скажу: жизнь прожить — не поле перейти. Человек, нетвердый в семье, никакого счастья иметь не может. И вообще, я честный трудовой путь до конца прошла и отдохнуть хочу. Так почему я вашими делами заниматься должна? Почему мне покоя нет, а?

Иван Петрович глубоко затянулся и смолчал.

— Вот и тебе сказать нечего! — продолжала Софья Сергеевна.— Значит, я права, и вы сами должны свою жизнь выстраивать, верно?

Самое забавное, что ее слова удивительно точно совпадали с ее мыслями. Всякие мелочи типа:

Ох, и задам же я тебе... Чего эта дура с ребенком от него бегает? Уведут его когда-нибудь — будет знать... не стоило принимать во внимание.

— Конечно, верно! — все более воодушевлялась Софья Сергеевна.— А раз верно, то объясни-ка мне, чего ты жену с сыном из дома гоняешь?

— Я не гоняю,— слабо отмахнулся Иван Петрович.— Она сама надумала...

— Э, брось, Ванечка, такого не бывает,— заулыбалась Софья Сергеевна, довольная тем, что зять бог знает который раз вступает с ней в одну и ту же игру по твердым правилам, гарантирующим ей моральный выигрыш.

Она выставила на столик сахарицу и свое знаменитое печенье.

— Знаешь ли ты, Ваня, что ревность — это пережиток? — вдруг спросила Софья Сергеевна. — И с этим пережитком надо всеми силами бороться!

— Что-что? — не понял Крабов.

— Я говорю, устраний пережитки в своем моральном облике! — напористо повторила теща.

— Хорошо, устраний, — буркнул Иван Петрович.

— Ну и чудесно, — сразу перешла на теплый тон Софья Сергеевна. — А то мне показалось, что на этот раз ты сильно ее обидел. Какие-то подозрения вспыхнули, да? Ну признайся, подозрения?

Как ей объяснить? Сказать про свои новые способности? Получишь порцию ликбеза по философским основам естествознания. Да и нужно ли всем все объяснять? Нужно ли?

— Повздорили малость, — как можно мягче увильнул от ответа Иван Петрович, и ему почему-то живо вспомнился эпизод четвертьековой давности, когда классный руководитель на протяжении двух часов дотошно выпытывала причину — истинную причину! — по которой он столкнул с парты свою соседку.

— Но объясни мне, — не унималась теща, — объясни мне — что за вздоры в настоящей советской семье? Вздоры, из-за которых жена с маленьким ребенком убегает в дом своих родителей! Признайся, ты ее оскорбил?

— Да нет же...

— Не юли, Ваня, иначе не стала бы она падать в обморок, — твердо сказала теща, всем своим видом показывая, что предварительное следствие окончено. — Только не юли! Я таких, как ты, десятки перевидела, и перевоспитывала их, и из них настоящие люди выходили. Раз ты умалчиваешь о причине ссоры, значит, ты виноват. А раз виноват — должен попросить у Анюты прощения. Не будешь больше?

— Не буду, — вздохнул Иван Петрович.

И Софья Сергеевна стала разливать чай. Вскоре пришла Аннушка в домашнем халате, с распущенными, лохмато торчащими волосами и сильно заплаканными глазами. Они порядочно еще посидели, отдали должное кулинарным и педагогическим талантам Софьи Сергеевны, упаковали Игорька и на такси отправились домой.

Как и предполагал Иван Петрович, выкуп оказался велик, даже больше, чем он мог рассчитывать. Прощения у Аннушки он, конечно, попросил, но это мелочи. Главное — он вынужден был окончательно согласиться на съезд, ибо Софья Сергеевна убедилась, что только личное ее присутствие в семье Крабовых обеспечит моральное процветание этой семьи. Впрочем, к такому давно назрев-

шему решению Иван Петрович отнесся до странного равнодушно.

Дома Аннушка, как-то жалобно вздыхая, все терлась вокруг Ивана Петровича. В конце концов, он и вправду пожалел ее. Уснули они около часа ночи, усталые и умиротворенные, отбросив прошлое в той степени, в какой это было необходимо в ночь на очередной осенний четверг, полноценную семейную ночь без незванных и, видимо, лишних снов.

13

Новый трудовой день начался для Ивана Петровича составлением обширной сводной справки и параллельными размышлениями о снах, от которых он, вроде бы, насовсем избавился.

Сны были редкостью в его жизни, приходили раз-другой в год, не более, и напоминали они лишь случайные обрывки серой киноленты дневных впечатлений. Поэтому естественно, что первая же ночь без цветной широкоформатной и полнометражной фантасмагории крайне обрадовала Ивана Петровича, и он даже уловил в ней обнадеживающие признаки общего выздоровления.

«Если бы отделаться еще и от телепатии,— думал он,— и позабыть о неприятностях, связанных с ней, все пошло бы по-старому, то есть нормально. Жаль, конечно, цирка, но не превращать же всю свою жизнь в сплошной цирк».

Но вот забыть было трудно. Взгляд Ивана Петровича на окружающий мир как-то неуловимо изменился. Одно дело догадываться о не слишком красивых мыслях близнего, другое — подсматривать в эти мысли, как в чужие исповедальные письма, оставаться один на один со своим нелепым отражением в кривом зеркале чьих-то извилин.

Забыть было трудно. Разумеется, жаль Аннушки, но с другой стороны — сцены! Спонтанно, без всякого к тому побуждения всплывали такие сцены, от которых у Ивана Петровича дух захватывало, и делалось ему пусто во всех отношениях. И опять-таки — размолвка с братом! Ну, не хотел же Иван Петрович его обидеть, в мыслях такого не держал. Однако Федя обиделся, и, должно быть, надолго, и самое забавное, что его коллеги уверены в злонамеренности выступления ближайшего родственника.

Все эти рассуждения настроили Ивана Петровича на грустный лад. С любых концов, казалось, штамповали его погаными штампиками «Неудачник», уже и места свободного не хватало.

Попозже, часам к одиннадцати, когда отрицательные эмоции готовы были целиком проглотить его, спасительное

воображение стало все устойчивей воспроизводить славный образ девушки Лены, обладательницы тяжелой сумки и красного беретика. Может быть, встреча у «Октября» — ее полудетская прихоть, и вообще — придет ли она, не посмеется ли, не пришлет ли полюбоваться на нахального толстячка какую-нибудь развеселую подружку-хочотушку?

В обеденный перерыв Иван Петрович проявил истинный героизм и, прихватив пару пирожков, помчался кратчайшим путем с тремя пересадками в «Октябрь» за билетами. Фильм шел с понедельника и, говорили, делал полные сборы. Судя по афишам, «Бессилие» — историческая лента, артисты в рыцарских доспехах, прекрасные дамы, сражения... Как раз то, что нужно для первого похода с девушкой — фильмом она заведомо будет довольна, смотреть на рыцарей и обсуждать их подвиги всегда приятно. Смузжало Ивана Петровича только название, поскольку здоровые ребята, по макушку закованые в латы, вызывали в нем ассоциации с чем угодно, кроме бессилия. Что ж, тем интересней будет во время сеанса, решил он.

Голубые бумажки в кармане резко сократили послебеденную службу Ивана Петровича. Этот странный и совершенно неизвестный в теории относительности эффект был обусловлен не только идиллическими картинками с участием Лены, но и более непосредственными фантазиями. Например, представлял себе Иван Петрович того же самого Выгонова в шлеме с роскошным павлиньим султаном. Было бы интересно вмонтировать туда небольшое электронное устройство, чтобы в подходящей ситуации перья сами по себе распускались в широчайший веер и приветствовали монарха или даму сердца. Монарх представлялся Ивану Петровичу в облике Филиппова или Пряхина, хотя последнего лучше было бы произвести в заместители монарха по режиму. С дамой выгоновского сердца дело обстояло похуже — без брючного костюма Лидочка никак не складывалась в четкое изображение, а Фаина Васильевна очень даже складывалась, но увязать ее образ с Выгоновым было слишком трудно.

Под эти приятные фантазии Иван Петрович лихо расправился со сводной справкой по анкетам, распространенным среди работников мясокомбината, и тем самым незаметно выполнил программу и завтрашнего дня. Стимулирующую роль искусства Иван Петрович принял, как должное, и настолько вошел в рыцарские образы, что даже удивился отсутствию в ответах каких-либо рыцарских мотивов. Мнилось ему, что, распространяя их институт свои анкеты среди высокородных баронов, — процент жалоб на бытовые неурядицы резко подскочил бы, поскольку, по сведениям Крабова, средневековые замки

строились без особых удобств, без учета многообразных культурных и, так сказать, естественных нужд. В этом смысле, отсутствие статистически обоснованной кривой роста благосостояния по сравнению, скажем, с 13-м веком могло рассматриваться как крупное научное упущение НИИТО.

В половине шестого Иван Петрович уже маячил у входа в «Октябрь», ловко увертываясь от желающих приобрести лишний билетик. Странная и многочисленная категория граждан, надеющихся на чудо, со всех сторон обтекала его, создавая то там, то тут небольшие водовороты вокруг немногих, кто своим рассеянным видом или просто недостаточно резким отказом оставлял хоть один шанс на добычу пропуска в двухсерийный средневековый рай.

«Скорее всего, она не приедет,— думал Иван Петрович.— Было бы смешно увидеть ее здесь рядом со мной. Будем считать, что я пришел сюда не из-за нее, а просто в кино. Когда же я выбирался последний раз? Кажется, в прошлом году... Посидели полчаса на какой-то комедии, а потом Аннушка вспомнила о невыключенной газовой плите...»

В тот момент, когда воспоминания Ивана Петровича готовы были обратиться к подгоревшему чайнику, перед ним возникла Леночка и без всякого здрасьте-извините стала поносить общественный транспорт. И вправду, оставалось всего пять минут до начала сеанса.

— Куда пойдем? — спросила она, полагая, что ритуал вежливости уже исполнен.

— Как куда? — удивился Иван Петрович.— Конечно, в кино.

Леночка восторженно хлопнула ладошками, подпрыгнула и, ухватив Ивана Петровича под руку, рванулась к входу.

«Очень непосредственный ребенок»,— решил Крабов, приоравливаясь к ее темпу. И тут же на него посыпалась забавные лоскутики Леночкиных мыслей:

Смешной дядька — вот уж не подумала бы, что он добудет билетики... А ничего у нее дубленка... И этот глазеет... Симпатичный... Вальке позвонить? Не успею... Про что кино? Спросить.. А, ладно, сейчас увижу... Купит ли он мороженое? Как намекнуть?.. Пусть догадается, а то провожать не разрешу... Хорошо, что билеты достал, иначе потащил бы в кабак — это уж как пить дать... А вообще, старый он, чтоб по киношкам водить.

Из всего потока Иван Петрович уловил лишь один квант полезной информации и сразу же неподалеку от контролера купил спутнице стаканчик мороженого. Разумеется, в Ивана Петровича полетела сладкая порция мысленной признательности с небольшой горчинкой из-за

сравнения с каким-то Семеном, от которого и стакана лимонада не дождешься.

Главная проблема, измучившая Крабова перед началом сеанса, заключалась в словах «брать или не брать». Брать или не брать Леночку за руку, когда в зале погаснет свет? По слегка заплесневелым юношеским воспоминаниям Иван Петрович представлял, что это приятнейшая операция. Однако он страшно стеснялся — вдруг Леночка подумает, что за несчастный билет в кино и мороженое он хочет получить бог весть какую награду.

«Может, и вправду стоило в ресторан позвать?» — скользнула у Крабова запоздалая и финансово не обоснованная идея, когда они усаживались в середине восемнадцатого ряда.

Но в Леночкиных глазах светилось неподдельное удовольствие от всего происходящего, а в мыслях кувыркались какие-то сладкие символы мороженого.

Сомнения Ивана Петровича потихоньку рассеялись. Во время журнала он так и не смог принять единственно верное решение относительно руки. Поэтому он просто взял Леночкины пальцы в свою ладонь и застыл, демонстрируя всем своим видом отсутствие неделикатных намерений. Леночка сначала вздрогнула, но тут же успокоилась, и Крабову даже показалось — ее липкие от мороженого пальчики ответили ему легким пожатием. Из-за этого Иван Петрович пропустил все заставочные кадры и не сумел узнать, кто же сотворил такой странный, мало на что похожий фильм.

14

Сначала на экране появилась клетка, в которой билась редкостной красоты птица. Потом рука какого-то уродца в драной холщовой рубахе взметнула над клеткой черный платок. Трепещущая от ударов крыльев черная конструкция надвинулась, захватывая экран, и в этом крупном плане Ивану Петровичу передалось ощущение птичьей клаустрофобии, словно он сам попал в замкнутый безвыходный объем, над которым неизвестный урод размахнул свой вонючий непроницаемый платок.

И тут же в немую сцену ворвался гул огромного лагеря крестоносцев под стенами Константинополя. Рыжие бородатые детины с громким хохотом жарили бараны ноги и упивались вином из дорогих серебряных кувшинов.

Потом в роскошных своих покоях метался слепой император Исаак II, призывая громы небесные на головы броненосных варваров. Из длинного монолога Иван Петрович понял, что древний правитель страдает от материальных затруднений и предательства собственного сына

Алексея, который добился разделения трона, пообещав латинянам незамедлительную выплату сумасшедшей контрибуции.

Сравнительно спокойная обстановка дворца сменилась феерическими сценами насилия и разбоя — в константинопольском пригороде разгулялся небольшой отряд крестоносцев. За временно сохраняемый престиж властителя народ по обыкновению платил головами мужчин и девственностью дочерей...

Тайный совет в лагере, восстание горожан, толпа, несущаяся по Триумфальной дороге, продажа и перепродажа всего, что продается и не продается, коронация Алексея Дуки по кличке Мурцул — того единственного, кто печенкой чувствовал неизбежный крах своего пестрого и нелепого государства, страшная картина удушения последнего из династии Ангелов Алексея IV, неудачливого тезки самозванца Мурцуфа и неверного сына, и, наконец, грандиозный штурм и разграбление Константинополя. Сцены отдельных схваток, открыточные виды великого города со стороны безмятежной Пропонтиды, вездесущие лисьи физиономии венецианцев и последняя любовь главаря крестоносцев Бонифация Монферратского к юной гречанке, стремящейся по-своему спасти родной город и близких людей...

Все это мощной волной влилось в Ивана Петровича, затопило его, и к немалому стыду своему он вспомнил о руке спутницы только тогда, когда движение невидимого реостата стало наполнять зал слабым белесым светом.

«Странно,— подумал он,— я пришел сюда поухаживать за девушкой, а — надо же! — просто сидел и смотрел кино».

Леночка улыбнулась Крабову и забрала руку, чтобы поправить шарф и беретик и вообще привести себя в порядок. Толпа зрителей медленно рассасывалась в проходах, истекая отсюда, из воздуха, насыщенного крахом далеких миров, в обычную вечернюю круговорть, к бутербродам, телевизорам, автобусам и прочим достижениям цивилизации.

— Правда, хорошая картина? — спросила Леночка, выбирайся на улицу впереди Крабова и слегка отталкиваясь от него своим остреньким локотком.

— Хорошая,— рассеянно ответил он, пытаясь отогнать видения трехдневного погрома, особенно сцену разрушения статуи Беллерофonta верхом на Пегасе.

— Все-таки красиво они одевались, помните Бланку? — продолжала Леночка, не обращая внимания на своеобразное настроение Крабова.— А гречанка совсем красавица, правда? Кто ее играл, не знаете?

— Не знаю,— все также безразлично бросил Крабов.

— А почему она называется «Бессилие»? Смешно, правда?

— Почему смешно? — переспросил Крабов.— Это как раз не очень смешно. И разве речь не о том? Вспомните, как метался этот Алексей V, призывая греков к сопротивлению. Все понимали, какие их ждут ужасы, но никто не колыхнулся. Когда все всё понимают и никто не хочет пальцем пошевелить — это и есть бессилие.

— Вас послушать,— сказала Леночка,— получается — Византия рухнула от того, что государство надоело, попросту надоело всем его гражданам. Разве так бывает?

«Ого!» — подумал Иван Петрович, а вслух сказал:

— Очень даже бывает. Кому нужна труха? Вот и выходит — сначала надоедает, а потом никому ничего не надо.

— Но ведь гражданам-то хуже,— удивилась Леночка.— Они же должны быть патриотами, правда?

— Правда,— ответил Иван Петрович заметно потертым Леночкиным словом,— граждане должны, но толпе государственных рабов на все плевать...

— И Мурцуфла этого жалко,— вставила Лена.

— Жалко,— сказал Крабов,— жалко, потому что он в клетке и понимает, что в клетке, но клетка собственной конструкции, и на нее накинут черный платок...

— Какая клетка? А-а, та, что вначале, да?

— Есть клетка времени, и он сидит в ней,— стал разъяснять Иван Петрович,— и выскочить из этой клетки ему не дано, он вынужден делать то, что положено в данной клетке в данное время. А жалко потому, что он-то это понимает — не в наших, а в своих образах, но все равно понимает. В остальном чем он лучше других?

Скучно и непонятно. Умничает толстячок. А название глупое — может, так на русский перевели, а на самом деле — другое...

Такой сигнал воспринял Иван Петрович, когда они с Леной подходили к остановке, и чуть не ответил, что при любом названии оригинала он считает перевод весьма удачным — откуда взять лучший русский эквивалент бессилия? И нужно ли? Хотел ответить, но вовремя удержался и получил новую порцию:

С приветом дядя, ей-богу, с приветиком. Все пальцы измял, ну и что? Теперь проводить захочет. Скучно...

Иван Петрович нерешительно помялся на месте, подумал. Подходил ее автобус.

— Спасибо, Леночка, за компанию, до свидания,— сказал он вдруг, хотя еще пару секунд назад мог бы поклясться, что никогда не откажется от проводов симпатичного существа в красном берете.

Похолодало. Иван Петрович добрался до дома к часам десяти и хотел сразу же залезть в постель. Но его поджидала Анна Игоревна с ужином, носившим следы какой-то праздничной идеи. И главное — не было вопросов и не приходилось возводить бастионы оправдательной блажи. Зато стопочка «Пшеничной» пришлась очень кстати. Он согрелся.

— Хочешь еще? — спросила Анна.

— Нет, спасибо.

Тогда она ткнулась носом в воротник его домашней куртки и заплакала.

Через час они уснули, довольные друг другом и переполненные тем трудно определимым и незаслуженно забываемым чувством, которое иногда называют нежной признательностью.

15

Разумеется, в эту ночь к Ивану Петровичу не мог не прийти полноценный сон. И сон пришел.

Прежде всего, он увидел себя на берегу Пропонтиды, но почему-то не могучим рыцарем в блестящих доспехах, а маленьkim мальчишкой, вылепливающим из влажного песка большой и красивый замок.

Он твердо знал, что раскинувшийся неподалеку город — не его родина. Он явился сюда как бы по пути, случайно, а истинная его цель — война за гроб Господень с неверными где-то там, на юго-востоке. И потому на рубахе его нашит небольшой красный крест — ведь не может быть, чтоб в столь древние времена под стенами Константинополя выбирали санитаров, да и в реальном своем школьном детстве Иван Петрович до такой должности никогда не дослуживался, а напротив, постоянно хватал замечания за грязные и обгрызенные ногти. Правда, специалистом по части песочных замков он был отменным.

Прямо на маленького Ваню налетел могучий всадник, подхватил его, и Ване, то есть Ивану Петровичу, почудилось, что они, как в сказке, одним прыжком перемахнули через высоченные константинопольские стены.

Так Крабов оказался в низкой, богато украшенной перламутровыми инкрустациями комнате один на один с Алексеем V, который действительно непрерывно хмурился, всем своим видом оправдывая кличку Мурцук.

«Отличное имя для кота,— подумал Иван Петрович,— а то все Васька да Васька...»

— Здравствуйте, Иван Петрович,— глухим голосом произнес император.— Что делать будем?

— А что? — растерялся Крабов.

— Как что? — удивился великий базилевс.— Готовится штурм, Иван Петрович, не сегодня, так завтра эта крестоносная орда ворвется в город.

— Надо войско собрать,— поражаясь своей государственной мудрости, посоветовал Крабов.

— Вот! — громко воскликнул базилевс.— В том-то и дело, что ничего не выходит. Войско не хочет собираться. Никто и ни за какие деньги не желает идти под наши знамена. Впрочем, денег тоже нет — последние Ангелы успели всю казну крестоносцам сплавить. Дескать, те — тоже христиане, только ищут бога своим путем. Мы бы их шайку шапками закидали — у нас перепроизводство головных уборов,— но теперь ни одна живая душа и шапкой кинуть не хочет.

«Откуда он выучился так по-русски шпарить? — поразился Иван Петрович.— Вот будет комедия, когда я объявлю в Академии наук, что византийский император совсем прилично по-нашему изъясняется...»

Но эта глубокая мысль не получила должного развития. Алексей V начал генерировать, и Иван Петрович страшно обрадовался, что его способности не исчезли от такого дальнего броска во времени.

Сей рыцарь — явный шпион Бонифация, в аду мне гореть, если он не лазутчик. За чей счет он стал бы носиться по столетиям? А может, венецианцы? Не устроить ли ему небольшую пытку?..

От последней идеи базилевса прошибло Ивана Петровича холодным потом. Греки, резонно полагал он, очень приличные мастера насчет пыток. Впрочем, кто не мастер в этой области? А испытывать на себе достижения разных народов в древнейшем искусстве развязывания языков никак не хотелось. Хотелось мгновенно испариться.

Оглядев себя, Иван Петрович понял, что он уже не мальчик, а настоящий рыцарь, только доспехи у него синтетические — из какого-то блестящего пластика. До чего же быстро он повзрослел под действием нехитрой задумки великого базилевса.

«Прекрасно,— мелькнула у него мысль,— но что будет с моим панцырем, если кому-нибудь из этих здоровенных идиотов захочется стукнуть меня мечом? Надо срочно уматывать отсюда, пока цел... Или доспехи сменить?..»

Но Иван Петрович точно знал, что запись в общую очередь на рыцарскую амуницию прекращена, а удостоверения участника Первого крестового похода у него пока нет.

— Вот и ты не хочешь поддержать меня,— печально сказал Алексей V.— По глазам вижу, что ты мечтаешь испариться в самый ответственный момент. Но не удастся!

Ничего у тебя не выйдет! Ты будешь помогать мне до последнего.

— Но я тороплюсь,— стал оправдываться Иван Петрович.— Я вообще из другого времени, я случайно попал в ваш Константинополь. Мне домой надо, а завтра утром — на работу.

— Я сам знаю, из какого ты времени,— твердо заявил базилевс.— Будешь из того времени, которое я укажу, ибо с меня никто еще не снял императорскую корону, и я сам волен указывать ход времени.

«Это он от наглости или избытка христианского мировоззрения? — подумал Крабов.— Он же умный мужик».

— Я и вправду не дурак,— продолжал базилевс, пытаясь скрочить ироническую ухмылку.— Я повидал такое, что тебе ни в одном двухсерийном сне не привидится, я понимаю все, даже то, что ты из иного времени. Но мне нужен живой свидетель — подчеркиваю, живой — и именно оттуда. И ты станешь свидетелем нашей гибели от равнодушия. Кстати, имей в виду — мне надоели твои критические взгляды. Тебя и семью с половиной веков ничему не научили. Сел бы ты на мое место...

Алексей V по кличке Мурцул вдруг безнадежно махнул рукой и умолк. Потом он внезапно и пружинисто вскочил с золотого трона, широким жестом пригласил Ивана Петровича следовать за собой, и они пошли, вернее, помчались по переходам императорского дворца.

«Здесь одной только стражей можно опрокинуть всех крестоносцев,— решил Иван Петрович.— На кой черт держать по целому взводу бездельников в каждом углу, жалуясь на нехватку военного бюджета?»

— Нельзя,— крикнул базилевс на ходу.— Эта стража хороша, когда охраняет наше величество от собственного народа. Но против вооруженных латинян она не пойдет. Избивать — одно дело, а воевать с крестоносцами — совсем другое.

«Интересно,— подумал Крабов,— что именно он читает — мысли или взгляды?»

Но базилевс на своего спутника больше не реагировал. Они выскочили куда-то в район Форума Константина, и Алексей стал хватать за руки и трясти всех прохожих мужского пола.

— К оружию! — кричал он.— К оружию, константинопольцы! Защитим наш славный город от вторжения латинских варваров!

Но константинопольцы не собирались браться за оружие. У каждого находились какие-то неотложные дела. Некоторые просто отмахивались, другие, краснея и запинаясь, оправдывались, бубнили о семье, о трудных временах.

менах, третья демонстрировали ворохи справок с круглыми печатями.

— Ах, бестии! — взревел базилевс.— Я всех вас выведу на чистую воду. Не владей я великим троном императора Константина, если не разоблачу ваши подлинные мыслишки.

И тут чьи-то сильные руки схватили Ивана Петровича и понесли над городом, и он, не успев насладиться принудительным полетом, оказался в огромном зале на позолоченном троне, очень похожем на тот, на котором ранее восседал базилевс. Трон был не слишком удобен, зато подлокотники в форме львиных лап показались Ивану Петровичу высшим достижением искусства, а великолепный материал балдахина он со знанием дела расценил как настоящую восточную ткань.

«Непонятно,— удивленно подумал он,— почему люди так стремились к столь неудобному и ненадежному креслу? Очень уж жестко. А из балдахина вышел бы неплохой отрез для Аннушки».

Внезапно он почувствовал, что правая рука его не свободна. Рядом стоял такой же трон, в котором удобно расположилась Леночка, поджав под себя одну ногу. Ее пальчики, по-прежнему липкие от мороженого, покоились в крабовской ладони.

«Надо ее одернуть,— решил Крабов.— Императрице не подобает такая поза».

Но на замечание просто не хватало времени. В зал вбежал базилевс Алексей V почему-то в сером костюме Макара Викентьевича Фросина, и вслед за ним стража стала вводить равнодушных константинопольцев.

— Приступим? — спросил базилевс и, подмигнув Ивану Петровичу совсем по-дружески, уселся у самого подножия великого трона императора Константина на полумягкий стул с инвентарной бирочкой. Откуда-то появились тонкие папки, и базилевс, закурив любимую фросинскую «Орбиту», стал листать и зачитывать личные дела.

«Значит, это древний византийский обычай,— сообразил Иван Петрович.— Неужели и у них существовала артель слепых, штампующая эти страшненькие серые папочки? Ну, конечно! Без артели-то нельзя. И возглавлял ее предпоследний из царствовавших Ангелов — слепец Исаак II! Как трудно дается эта историческая правда...»

Иван Петрович даже устрашился всех тех слов, которые воспринимались неким волшебным сектором его мозга и самопроизвольно скатывались ему на язык. Но базилевс казался невозмутимым и даже, в своем роде, одухотворенным. Энтузиазм сквозил в его взгляде, в небрежных движениях, которыми он извлекал папки из воздуха или

брал с какого-то невидимого столика, в еще более небрежных и слегка замаскированных жестах, которыми он приказывал стражникам увести очередного, не в меру копающегося в действительности молчальника.

И лейтмотивом неслось со всех сторон: «Пытки... пытки... пытки...» Коротенькое слово — последняя полуразмытая дамба на пути мыслеизвержения следующей жертвы.

— Отлично! — засвидетельствовал базилевс, когда Иван Петрович пропустил первую сотню, а, перевалив на третью, Иван Петрович услыхал мертвые глухие удары за стеной.

— Это памятник тебе ставят на форуме Феодосия,— радостно пояснил базилевс.

«Знаем мы твои памятники,— подумал Крабов,— фуражку или там корону будешь ты вешать на этот памятник. Лучше бы бесплатную путевку в настоящую Феодосию выписал».

Одна только Леночка не могла по-настоящему включиться в странную ситуацию, представляющуюся ей чем-то вроде третьей серии «Бессилия».

«Это и есть третья и самая существенная серия «Бессилия»,— съехидничал про себя Иван Петрович, не прекращая исполнения служебных обязанностей,— третья серия с прядильщицей в роли императрицы. А она моло-дец — в душе буря, но глазом не ведет».

— А мне это колечко насовсем? — шепотом спросила Лена, не выдержав страшного внутреннего напряжения.

— Т-с-с... — зашипел снизу базилевс, превращаясь из смуглого красавца-киноактера в подлинного Макара Викентьевича.— Насовсем, насовсем, только не шуми.

— Но мне сегодня в третью смену,— капризно сказала Лена, впрочем, капризничая весьма рассеянно, поскольку ее внимание было приковано к изумительному византийскому перстню с огромным, как драконий глаз, рубином — к тому, во что превратилось ее скромное девичье колечко с бордовой стекляшкой.

— Справку дадим,— сквозь зубы прощедил базилевс Фросин.

— Тогда хорошо,— вздохнула Лена и погрузилась в созерцание перстня.

Вскоре она пресытилась этим занятием и, повернувшись к Крабову, спросила.

— А вы и вправду император?

— Не знаю,— ответил Крабов.

— Ну да, так уж и не знаете,— заулыбалась Лена.— Однажды у нас в цехе была лекция, и лектор говорил, что императоров уже не осталось. Может, вы по конкурсу место заняли?

Вопрос болезненно кольнул Ивана Петровича. Через несколько месяцев истекал его срок в институте, и надо было подавать документы на переизбрание.

— А откуда вы про конкурсы знаете? — спросил он у Леночки.

— А у меня двоюродный брат по конкурсу работает, это который в институте, а не в магазине,— с гордостью и некоторым смущением ответила она, и Крабов понял, что воспоминания об ученом двоюродном брате сильно скрашивают жизнь его соседки по трону.

— Вы тогда обиделись на меня, да? — кокетливо поинтересовалась она.— Я просто не подумала, что такое может происходить на самом деле, а вообще-то мне ни капельки не было скучно.

«Приукрашивает»,— подумал Крабов и не стал ничего отвечать. Напряжение возрастало. Папки мелькали в руках Фросина-Мурцуфла все быстрей, и по мере их ускорения усиливались и учащались глухие удары за стеной.

«Очень уж стараются,— отметил Крабов.— По шляпку меня вгонят, так что и кепочки не нацепишь».

— Готово! — воскликнул базилевс.

Зал растворился, и Крабов понял, что он присутствует в качестве почетного гостя на открытии собственного памятника. Нечто огромное, заключенное под большим черным полотном, пульсировало посреди форума Феодосия, который почему-то порос зеленою травой — и это глубокой осенью! — и вообще напоминал милый сердцу Ивана Петровича пустырь за Приморским парком в его родном городке. Крабов со всей подобающей серьезностью следил за церемонией, но в глубине души сильно переживал, чувствуя, что под черным покрывалом скрывается нелепое живое существо, живой символ его, Крабова, невиданного взлета. Говорились какие-то многоцветные медовые речи, а существо под покрывалом пульсировало все слабей.

Наконец, покрывало сдернули, и Иван Петрович сразу понял — поздно! Его двойник-символ безнадежно мертв — изящная бронзовая конструкция, по смыслу которой Иван Петрович, совсем как Беллерофонт, возносился на Пегасе к Олимпу или к иным сияющим вершинам, на всегда застыла в полузвлете-полупадении. Навсегда — это, конечно, фигура, на самом деле был отмерен срок, весьма небольшой срок до полного уничтожения озверевшей толпой захватчиков, которая именно на Пегасе раскрутит свой тугой клубок злости и неудач, свое многолетнее ожидание никак не наступающего на земле царствия небесного, где можно было бы жрать и пить вволю, не рискуя получить ржавым наконечником копья промеж

лопаток, не натирая задницу дешевым, но все же купленным в долг седлом, не кланяясь до треска в пояснице сильным мира сего. И снова в Ивана Петровича проник непостижимый магнетизм слияния со своим двойником — он втягивался в бронзового Беллерофonta и отвердевал.

— Ничего не выйдет! — закричал Фросин. — Не увильнешь!

И Иван Петрович почувствовал, что его вместе с крылатым конем стаскивают с гранитной глыбы и снова волокут в огромный тронный зал.

«Только причем здесь Пегас? — думал Иван Петрович. — Потом все свалят на бедного коня. Скажут, что он и распихал византийцев по темницам».

Мелькали папки. Работа продолжалась.

— А что мы тут делаем? — спросила Леночка, понемногу осваиваясь с обстановкой. — Куда их уводят?

— Не знаю, — нехотя ответил Иван Петрович. — Ничего не знаю.

— А по-моему, что-то не так, — громко сказала она. — Не мое, конечно, дело, но им грозит что-то нехорошее. Вы должны узнать...

— Т-с-с... — делая страшные глаза, зашипел базилевс Фросин. — Вы мешаете работать.

— Я лучше пойду, — обиделась императрица и, легко соскочив с трона, оказалась на подножке невесть откуда вырнувшегося автобуса.

— Если сидеть на справке, то и без квартиральной премии останешься, — бросила она напоследок.

На прощание Крабов уловил с ее стороны нечто вроде импульса жалости к странному толстячку, который ввязывается в какие-то сомнительные дела, и ощутил страшное одиночество. Крылья Пегаса уныло повисли, и старый конь всем своим видом показывал, что зарядить бронзового Ивана Петровича творческим оптимизмом уже невозможно.

— Я, пожалуй, тоже пойду, — сказал, ни к кому не обращаясь, Иван Петрович. При этом он напряженно соображал, как забраться с таким конягой в обычный рейсовый автобус и не следует ли позвонить и вызвать грузотакси.

— Ни в коем случае! — завопил Фросин, снова превращаясь в вечно нахмуренного грозного базилевса и резко нажимая на большую красную кнопку звонка. В зал ворвалась целая толпа стражников с грозными кувалдами наперевес, а впереди бежал рецидивист Вася с автогенным аппаратом в форме шмайсера.

«Значит, меня уничтожат вовсе не латиняне, а, так сказать, свои же, — удивленно подумал Иван Петрович. — Вот и верь после этого историческим фильмам...»

Звонок кричал все надрывней, и Иван Петрович почувствовал, что неведомая сила, которая несомненно ассоциировалась с силой Архимеда, выталкивает его из зала куда-то вверх. И даже забронзовевший Пегас ожил и слабо взмахнул крыльями, словно пробуя эти давным-давно затекшие атавистические конечности...

Твердая рука Анны Игоревны стягивала с Ивана Петровича одеяло.

— Вставай, Ванюша, вставай,— приговаривала она,— уже и будильник отзвонил. Я тебе чаек приготовлю.

«Константинополь падет потому, что я не завершил свою работу,— мелькнула у Крабова совершенно дурацкая мысль.— Ну и идеики у этих византийцев... Впрочем, при таких мурцуфлах нечему удивляться».

Чай был свежезаварен и вкусен, как никогда, и у Ивана Петровича даже осталось несколько минут для сладкого утреннего перекура. Это казалось превосходным предзнакомованием в решающий для Ивана Петровича день, каковым и была данная пятница.

16

Да, наступила решающая пятница, и все устремления, посетившие Ивана Петровича после путешествия к своевольным византийцам, связали его с цирком, а конкретно — с комиссией Ильи Феофиловича.

К этому событию Иван Петрович готовился весьма тщательно — он заранее выговорил себе библиотечный день с одиннадцати часов. Подобной формой творческого отпуска он пользовался очень редко, даже реже одного законного раза в месяц, и систематическая скромность оказалась в данном случае как нельзя кстати.

По пути в цирк Крабова охватил странный духовный озnob — особое состояние, знакомое всем, когда-либо участвовавшим во всякого рода творческих конкурсах. Мерещилась респектабельная толпа корифеев арены, тщательно анализирующих каждую деталь крабовского выступления, делающих убийственно точные замечания и, наконец, дружно голосующих за беспрепятственный допуск Крабова — по какой там у них принято: первой или второй форме! — в храм искусства. В главном, то есть во владении телепатией, Иван Петрович был полностью уверен. Разъедала его только одна проблема — почему он, свободно читая чужие мысли, никогда и никому не внушиает свои.

«Да ведь я и не пробовал этого», — вспомнил он и ужасно удивился.

Как не дойти до идеи прямого эксперимента! Нестранимая привычка всегда и во всем следовать внешним

внушениям? Возможно, однако теперь Иван Петрович настроился. Он метнул взгляд на соседку, сидящую впереди, и мысленно приказал ей повернуться и попросить у него лишний талончик.

Цветущая дама опасного возраста действительно повернулась и попросила у Ивана Петровича талон. Это было уже слишком. Крабова мгновенно переполнила волна восторга перед самим собой, вернее, перед собственным могуществом. Волна затопила его по уши, и он сидел, хлопая ресницами и не соображая, что невежливо надолго задерживать даму в неудобном повороте.

Собственно, талонов у Крабова не было, он постоянно пользовался проездным билетом, разумеется, к обоюдной выгоде — своей и автобусного парка. Дама секунд тридцать бессмысленно пялилась на Крабова, но потом вспомнила, что талоны ей совершенно ни к чему, что она тоже взаимовыгодный пассажир. Она фыркнула, покраснела и отвернулась.

Что это со мной творится? Зачем талоны? Совсем эта Людка до сумасшествия доведет...

Такой сигнал тревоги принял Крабов и через некоторое время узнал, что Люда — ее дочка, вздумавшая в неполные восемнадцать лет женихаться, да было б с кем, а то с каким-то сопливым студентом-первокурсником, живущим на хилую стипендию в общежитии и, конечно, мечтающим о прописке на невестиной жилплощади. Теперь дама и ее супруг в трансе, не знают, что делать, а дурная Людка, кажется, перестаралась и зашла слишком далеко — черт бы побрал эти поездки на картошку! — и вот приходится принимать срочное и очень ответственное решение...

Крабову стало по-настоящему неудобно. Лезть со своими глупыми экспериментами в момент большого семейного горя — разве не верх бес tactности?

Но, с другой стороны, он горько пожалел, что не знал раньше о новой грани своего дарования, ох, как пригодилось бы ему это во время путешествия в Византию.

«Я внушил бы крестоносцам, чтобы они устроили свою Латинскую империю где-нибудь в Сахаре,— думал он,— а Алексея V заставил бы организовать жизнь Византии по-новому, во всяком случае, без выкачивания чужих мыслей и без пыток. А главное — внушить Мурцуфлу, что время не такая уж безнадежная клетка, что рано или поздно оно распахивается и впускает в себя лучи будущего, высвечивающие правду. Вся задача в том, чтобы разгадать сочетание этих лучей и не поверить в существование черного света, способного укрыть наши истинные дела и мысли».

И еще представилась Ивану Петровичу волнующая сцена — как он заставляет Фросина с чистой бескозырной десятерной на руках заказать мизер, лучше, конечно,

втемную и на бомбе, и тот, мысленно выстраивая все возможные матюгальные конструкции, пытается всучить кому-нибудь хоть одну взятку, пытается и не может, и тузы хитро подмигают ему зрачками четырех руководящих мастей. И в этот момент Фанечка подходит к столу и начинает вести себя аморально — публично целовать Михаила Львовича Аронова в затылок, а Семен Павлович швыряет свои карты и осознает мгновенным озарением, стоящим вне всякой логики, что неправильно заказал свою жизнь, и недобор ему гарантирован независимо от того, пострадает или нет будущее благосостояние Фаины Васильевны.

К чести Ивана Петровича надо сказать, что данная несколько непорядочная сцена, родившаяся в его перегруженном воображении, должна была дополниться чем-то очень важным и неприятным, относящимся к нему лично, и дополнение не состоялось по единственной причине — автобус подошел к заветной остановке, откуда начиналась его финишная прямая в большое искусство.

Цирк встретил его просто и по-деловому. Вахтерша, выяснив, что он назначен к директору, приветливо ему кивнула, а Ксюша сообщила, что Илья Феофилович задерживается и надо немного подождать.

Иван Петрович расстроился, ибо мог рассчитывать на все, кроме такого поворота. Его энтузиазм требовал немедленного выхода. Он бесцельно скользил взглядом по афишам и графикам на стенах, пристально разглядывал секретарь-блондинку, пока не осознал, что она заслуживает очень серьезного внимания. Попросту говоря, во внешности Ксюши не было ни одного изъяна, и в одежде, пожалуй, тоже. Крабов не выдержал и проделал адский эксперимент, при воспоминаниях о котором ему впоследствии не раз приходилось краснеть. Он мысленно приказал Ксюше посильней подтянуть юбку. Она повиновалась — даже чрезмерно, и Иван Петрович, убедившись в совершенстве ее длинных ног, получил от нее дикую порцию самокритики. Обругав себя последними словами, Ксюша вскочила и исчезла из приемной до самого прихода Ильи Феофиловича.

Илья Феофилович вошел в приемную, вздрогнул при виде Крабова и многозначительно сказал:

— Да-да...

Потом, открывая дверь кабинета, добавил:

— Минутку, сейчас я вас приму.

Откровенно говоря, назначая Крабова на пятницу, Илья Феофилович и думать не думал, что тот явится, и никакой комиссии устраивать, разумеется, не собирался. В цирк обращается не так уж мало домашних умельцев, воображающих, что они корчат очень смешные рожи или

ходят по канату. Если каждого из них пропускать через более или менее компетентную комиссию, то нетрудно подсчитать, что все лучшие цирковые силы, включая гардеробщиков и уборщиц, должны будут по двадцать пять часов в сутки непрерывно заседать в упомянутых комиссиях. С этой точки зрения, предубеждение Ильи Феофиловича очень легко понять. С другой стороны, первая встреча с Крабовым не могла не оставить суровый след в его душе. Ибо разоблачение загашника Илья Феофилович не мог представить иначе, как в тесной связи с происками нечистой силы — то, что не удавалось сделать даже всеведущей Ирине Сергеевне, не могло получиться ни у кого из простых смертных.

Илья Феофилович немного подумал и вызвал с помощью Ксюши двух человек — наездницу Канашкину, которая все равно хотела полюбоваться ясновидцем, и старшего администратора Рубинова, который умел произвести неотразимое артистическое впечатление и обладал исключительно ярким даром неуловимости.

Члены наскоро сколоченной комиссии собрались на редкость быстро — минут за двадцать, и тогда Илья Феофилович велел позвать новичка.

За истекший час ожидания Иван Петрович успел растерять изрядную долю оптимизма. Во-первых, ему было очень стыдно перед Ксюшей, которая под умственным рентгеном Крабова оказалась славной девчонкой, по уши влюбленной в цирк и в цирковой народ. Во-вторых, всякий энтузиазм представляет собой субстанцию тонкую и легко растворимую в достаточно емких промежутках времени. Иногда в виде осадка выпадает лишь скромное желание завершить начатое дело, но это желание слабо напоминает исходный порыв.

Аналогичный осадок руководил и действиями Ивана Петровича, когда он перешагнул порог директорского кабинета.

— О чём сейчас думает этот товарищ? — сразу метнул вопрос Илья Феофилович, указывая на солидно покашливающего Рубинова.

Иван Петрович смешался. Старший администратор Рубинов думал, в сущности, о приятных вещах, например, о том, что Канашкина полноеет не по дням, а по часам, что зря он так переживал, когда ее отбил Илья Феофилович, что заказ на паюсную икру будет готов к пяти, а балычок стервец Прокопьев так и не даст...

— Он думает, что товарищ Прокопьев не даст ему балыка,— нашелся Иван Петрович.— Икры даст, а балыка — нет.

— Я протестую,— взвизгнул Рубинов.— На службе я думаю о служебных делах!

И тут Иван Петрович понял, что допустил серьезный просчет. Илья Феофилович бурно загенерировал:

Ах, крокодил! Влез-таки к Прокопьеву. А тот тоже хорош гусь — не мог на прошлой неделе выписать мне пару кило семужки... Значит, икоркой балуетесь, товарищ Рубинов, ясно, ясно...

— Это неприкрытое шарлатанство, Илья Феофилович! — кричал Рубинов, теряя свой стандартный вид заслуженного деятеля.— Можете сами выяснить у Прокопьева. Я ничего такого... А гражданин тут шарлатанит — это же видно.

— Ладно, успокойтесь,— внушительно сказал Илья Феофилович.— Зачем оправдываться?

Потом он обратился к Крабову:

— Вы принесли программу вашего номера?

— Какая тут программа? — удивился Крабов.— Зрители выходят, а я угадываю их мысли. Вот и все.

— Это что ж выходит? — подал голос Рубинов.— Любой зритель выходит, и вы любую его мысль перед всеми вслух? Это ж скандал выйдет...

Он запутался в выходах и умолк, так что его озарение насчет положительных производственных характеристик для каждого активного зрителя дошло только до Ивана Петровича.

— Публика на то и публика,— терпеливым тоном наставницы произнесла Канашкина.— Но мы-то должны знать секрет вашего фокуса.

— Вся беда в том, что я и сам не знаю своего секрета,— простодушно ответил ей Иван Петрович.— Наверное, и секрета никакого нет. Угадываю и точка.

— Так не бывает,— широко заулыбался Илья Феофилович.— Точки потом расставляют, на просмотре. Всякий фокус имеет свое объяснение в соответствии с достижениями современной науки и техники. Вы не верите в это?

— Верю,— признался Иван Петрович.

— А раз верите,— совсем уже проникновенно произнес Илья Феофилович,— то чего ж вы нас за нос водите?

И ему самому очень понравилась такая твердая позиция в защиту современных достижений.

— Разве сможем мы, ответственные люди, доверить вам общение с многотысячным коллективом зрителей, если вы сами не понимаете природы своего номера? — добавил он отеческим тоном.— А вдруг вы что-нибудь не то угадаете, а?

В голосе Ильи Феофиловича чувствовалась такая многотонная ответственность за коллектив зрителей и престиж вверенного ему учреждения, что Крабова начали разъедать настоящие сомнения — а вправду ли отгадываются эти проклятые мысли, а не занесло ли его в какое-

то мистическое течение, подрывающее основы реалистического искусства, и вообще, не спит ли он?

— Посудите сами,— многоопытным соловьем заился Илья Феофилович,— посудите сами. Вы приписали товарищу Рубинову совершенно странную мысль по поводу рыбных закусок, а он категорически от этого отмахивается. Удался ли ваш номер?

Илья Феофилович обвел взглядом притихших ¹членов компетентной комиссии и тяжело вздохнул, что должно было выражать заведомо отрицательный ответ.

— Смею уверить,— с издевательской вежливостью произнес он,— нет, не получился! Вообще-то, в природе существует некий Прокопьев, связанный с рыбной гастрономией, но дело совсем не в этом. Не исключено, что Прокопьев даже знаком с товарищем Рубиновым, но дело опять-таки не в этом. Дело в том, что наш зритель, общаясь с вами, должен получить заряд бодрости и, так сказать, оптимизма. А что получил от вас товарищ Рубинов? Что?

Илья Феофилович явно упивался чисто педагогической победой над настырным новичком. В красивых миндалевых глазах Канашкиной замелькали искры искреннего обожания.

— Товарищ Рубинов получил от вас порцию неприятных ощущений, вот что он получил! — продолжал Илья Феофилович.— И я думаю, у товарища Рубинова на весь день испорчено настроение. А разве в этом задача цирка? Разве мы можем культивировать натурализм и интеллектуальный стриптиз? Знаете, кто бывает среди наших зрителей? А вы про рыбную закуску...

Затаенный смак, с которым сделано было последнее замечание, нагнал на Ивана Петровича изрядный аппетит — пришлось даже слюну сглотнуть. «К выходным бы селедочки достать...» — не к месту подумал он.

— Да-да-а, про рыбную закуску,— с хорошо сыграным сожалением протянул Илья Феофилович, и Крабов понял, что моральное окружение завершилось, и противник приступает к операции на уничтожение.— А дело-то в чем? Вы вот полагали, небось, что одними талантами своими обойдется, что актерская подготовка не обязательна? Выскочил на арену, пожонглировал шариками, или льву голову в пасть сунул, или, на худой конец, мысль угадал, и со зрителя хватит, да? А ведь все не так, совсем не так! Будь вы причастны к искусству, вы сто раз подумали бы, прежде чем обозначить вслух мысли того же Рубинова, на репетициях попотели бы, со знающими людьми посоветовались...

Тут Илья Феофилович тяжело, пожалуй, даже осуждающие вздохнули, и лицо его обрело торжественно-скульптурное выражение.

— Искусство, знаете ли, в том и состоит, чтоб просветлять человеческую мысль, извлекать из человека все лучшее и подавать это в изящной, артистической, так сказать, упаковке. Именно такое искусство любят, и, сами понимаете, за что ж его не любить? Такое искусство и отличает профессионала от дилетанта, от человечка с кое-какими способностями, однако без дара просвещения. Вот и у вас по части указанного дара неважно дела обстоят, совсем неважно...

Представления не вышло. Надо кончать этот балаган. Жаль, что у Рубинова на уме одна икра, не хватает пикантных деталей. Канашкина будет недовольна. И Ирине ничего не расскажешь. Ладно, надо кончать. Пора...

Такой обильный поток директорского сознания уловил Иван Петрович.

«Ах, так, ну, погоди!» — подумал он.

— Илья Феофилович,— дрожащим от обиды голосом сказал Крабов,— не все наши мысли для нас праздники. Я бы мог точно передать вам все, что думал тогда Рубинов, но не хочу этого делать, не хочу говорить вслух, понимаете?

Так, значит, этот пакостник все еще стреляет в сторону Канашкиной. Ай да Рубинов, мало тебе не будет...

От этой директорской генерации Иван Петрович чувствовал себя скотиной. Он шел сюда без малейшей фискальной цели, вовсе не имея в виду подгадить Рубинову или подтолкнуть Илью Феофиловича к сведению счетов. Он шел сюда с единственным намерением — показать свое искусство проникновения в чужие мысли и, может быть, попроситься на работу. Получалось же черт знает что — какой-то византийский вариант. Каждый его шаг приводил к тем или иным неприятностям и для него и для окружающих. И тут Иван Петрович решил, плюнув на все моральные проблемы, пустить в бой тяжелую артиллерию. Он отдал Илье Феофиловичу четкий приказ — принять на работу.

— Так, дружочек, на работу я вас, конечно, беру,— вдруг выпалил Илья Феофилович, грузно поднимаясь из-за стола и почему-то протягивая руку лично Крабову.

У Рубинова отвисла челюсть, а Канашкина удивленно захлопала ресницами. Иван Петрович подумал:

«В общем, не очень-то красиво, но зато я, наконец, займусь чем-то таким, что принесет мне известность».

— Оформляйтесь, оформляйтесь,— продолжал Илья Феофилович.— Идите в отдел кадров, а искусству мы вас подучим, как следует подучим.

— А кем оформляться? — спросил Иван Петрович и мысленно приказал директору назвать размер зарплаты. И тут же пожалел о своем приказе.

— Позвольте, позвольте,— забормотал он,— но у меня семья, и я иду к вам со ста семидесяти...

— Понимаю, понимаю, дружочек, но по какой сетке прикажете вас оформлять? — удивился Илья Феофилович, из которого постепенно улетучивался дурман первого крабовского приказа — теперь во всей грандиозной бесмысленности проступала суть собственного решения.

— Я подумаю, можно, я подумаю до понедельника? — спросил Крабов.

— Да-да, конечно, думайте,— почти радостно восхликал директор, убирая протянутую руку.— Хорошенько думайте, у нас тут нелегко, поверьте, нелегко...

Крабов, не прощаясь, выбежал из кабинета, зачем-то бросил Ксюше «Пока!», и через три минуты его тело уносил первый подвернувшийся автобус.

Опомнился Иван Петрович на совсем не известной ему окраине от того, что пожилая контролерша настойчиво требовала предъявить билет.

Попав домой, он никого не застал и прилег на диван. Легкую дрему прервало возвращение Аннушки с Игорьком. Его растормошили, усадили к телевизору, и только за вечерним чаем он признался Анне Игоревне в своих назревающих трудовых трансформациях. Супруга выслушала его очень спокойно, уточнила все известные самому Крабову детали, а потом негромко, но крайне отчетливо сказала:

— Ванюша, я еще тогда, в прошлое воскресенье, подумала, что ты болен. Тебе надо лечиться, Ванюша. Чем дуться в преферанс с этим Ломацким, посоветовался бы с ним, может, к хорошему профессору попал бы. Только не рассказывай никому, что в цирк собирался, — засмеют. Когда выздоровеешь, проходу не будет.

Такого поворота Иван Петрович совсем не ожидал. Как это болен, когда вполне здоров? И за что его больным-то объявлять — за то, что не как все, за то, что захотел публику веселить, а не стал правой рукой Мурцузла? За что?

Ни слова не говоря, он ушел в спальный угол и обиженно отвернулся к стене. Через полчаса появилась Анна Игоревна, тихонько улеглась рядом и положила ему руку на плечо. Крабов притворился спящим, но по вздохам супруги определили, что она немного всплакнула на кухне. От этого стало ему совсем тоскливо, и еще он вспомнил о неизбежной завтрашней процедуре с коврами. Пытаясь сам от себя убежать, Иван Петрович крепко зажмурился, глубоко вздохнул и куда-то провалился.

Хорошо бы сказать — провалился в сон, но ничто вокруг Ивана Петровича не вызывало сомнений в реальности происходящего. Возможно, у него был слишком своеобразный взгляд на реальность.

Он попал в какое-то помещение, где десятки людей ожидали своей очереди на безусловно важный прием. Иван Петрович знал, что сам он может пройти без очереди, что его право очевидно для всех, но почему-то не спешил он воспользоваться своим правом.

Вдруг неподалеку от огромной двери с красивой, но неразборчивой табличкой Крабов заметил солидную фигуру Аронова, который сидел хмуро и неподвижно, как, впрочем, и остальные.

Пробравшись по довольно узкому проходу, Иван Петрович наклонился к Аронову и негромко спросил:

— Что здесь происходит, Михаил Львович?

Аронов поднял на Крабова воспаленные глаза, видимо, с трудом отрываясь от своих размышлений.

— Что происходит? — безразлично переспросил он и вздохнул. — Страшный Суд происходит, Иван Петрович, вот что происходит.

Вообще-то, коридор и особенно вид очередей сильно напоминали Ивану Петровичу какое-то невеселое судебное присутствие. Однажды ему пришлось побывать в нарсуде в качестве свидетеля по делу об уличной драке. Так что он многое знал о деятельности учреждений такого рода, ему казалось — многое знал, и ответ Аронова его несколько удивил.

— Почему страшный? — прошептал он, остерегаясь нарушить тишину.

— Сами увидите, — нехотя буркнул Аронов и отвернулся.

«Не хочет разговаривать, — решил Крабов, — может, из-за проигрыша в прошлую субботу. Не похоже на него, вовсе не похоже. В сущности, он простой и веселый мужик... Или догадался, что я про Фанечку знаю?..»

— Да бросьте вы свои глупости, — вдруг взорвался Михаил Львович, — бросьте! Неужели вы и здесь не можете подумать ни о чем более умном, чем мои отношения с Фаиной Васильевной?

— Что Фаина Васильевна? — поразился Крабов.

— А то, что у вас на уме вертится, — ответил Аронов. — Только не считайте, ради бога, что ваши хохмы с угадыванием чужих мыслей так уж оригинальны. Свои пора иметь. Здесь не цирк. Мы ведь на Страшный Суд призваны.

— Как прикажете вас понимать? — возмутился Крабов, краснея до ушей.— Откуда такой тон?

— Отсюда! — парировал Аронов, хлопая себя по широкой грудной клетке, и добавил.— Тон вам не нравится... Потому что доделикатничались мы, дособлюдались... Вот вы, вы, например, почему вас в семеркину крестоносную шкуру потянуло? Фросину пособить захотелось, да? Пусть пигалицей, но в приличную каству, верно?

— Да нет, ведь! Ничего подобного! — еще более возмутился Иван Петрович. — Но не нравится мне быть валетом неприкаянной масти, хоть убейте, не нравится.

— Зато семеркой куда как славно! — съехидничал Аронов. — Между прочим, это был джокер. Вот от чего вы отмахнулись.

— Джокер? Ну конечно же, он! — обрадовался Крабов простому разрешению мучавшей его загадки.— Но к чему он в преферанс? Неужели на что-то годен?

— Пора свою игру предлагать, а не в чужой копеечным идеям соответствовать,— извернулся Михаил Львович.— Годность, она, ведь, еще и от правил зависит. Кто правила задает, тот и годен. Доигрались мы с вами, понимаете, совсем доигрались. Так уж сейчас хватит голову-то дурить, сейчас — на Страшном Суде!

— Что за навязчивые образы? — снова, раздражаясь, спросил Крабов.— В наше-то время и в нашенских местах...

— Очень даже к месту и ко времени,— усмехнулся Михаил Львович,— поскольку это и есть настоящий Страшный Суд — все мысли наизнанку.

— Но судят-то за деяния, а не за мысли.

— Это там судят за деяния, а здесь — за мысли,— твердо сказал Аронов.— Здесь вскрывают подлинную правду, и, поверьте, Господь не использует, подобно некоторым, свои способности для подглядывания в замочные скважины. Понимаете, говорят, за этими дверьми ничего уже нельзя скрыть или представить в ином свете.

— Говорят? — опять удивился Иван Петрович.— А разве многие оттуда выходят?

— Нет,— вздохнул Аронов.— Оттуда мало кто выходит, но кое-какие слухи проникают, знаете ли...

«Это понятно,— подумал Иван Петрович.— Слухи проникают сквозь самые непроницаемые преграды. Там, где не пройдет живой или мертвый, проползет слух. Здорово Львовича крутануло, если он в такую отчаянную мистику ударился...»

— Ну ничего, переживем,— сказал он как можно оптимистичней и подмигнул Аронову.

— Вы так считаете? — снова вздохнул Аронов.— Вашими устами да мед бы пить! Только я вряд ли пере-

живу. Я заразился озлоблением, понимаете, натуральным озлоблением, а это высший грех, неискупаемый грех. Я так и не открыл своей главной темы. Год, два, три, годы — понимаете! — годы, и борьба за идею превратилась в склоку с Самокуровым, который меня за что-то возненавидел, и настал момент, когда я ему отплатил тем же. Надоело, зверски надоело расплачиваться за все годами, годами, годами... За чей-то интеллектуальный нарциссизм — своими годами, за чье-то желание гонять по заграницам ради ярких тряпок — своими годами, за чье-то ущемленное и давным-давно загноившееся самолюбие — своими лучшими годами... И я впал в смертный грех — однажды расплатился с судьбой ненавистью к Самокурову и иже с ним, озлобился на все, что его породило и позволяет ему процветать, и на себя за то, что я, вы меня, надеюсь, понимаете, не могу ничего доказать напрямую и должен перебиваться какой-то дохлой словоблудной дипломатией перед разнокалиберными мурцуфлами, которых вы добросердечно подозреваете в ощущении клетки времени, а они ощущают только вашу собственную клетку, ими же созданную, и понимают, что деваться вам в общем-то некуда, и любуются вашим инстинктом самосохранения и вашим бессилием. И теперь я боюсь, что договорился и уж наверняка додумался. Не спустят мне этого, Иван Петрович, никак не спустят. И Файны Васильевны не спустят, и преферанса по субботам, и «Мизера втёмную», которой я так и не смог дописать...

Иван Петрович застыл от удивления. Он с радостью дослушал бы монолог Аронова но, к сожалению, в этот момент огромная дверь бесшумно отворилась, и мощный голос товарища Пряхина позвал:

— Товарищ Крабов, мы вас¹ ждем. На работу нельзя опаздывать!

И запела, заполняя унылое коридорное пространство многообразием тем — от византийских аккламаций до переливчатых трелей звонка у вертушки НИИТО,— запела труба, должно быть, архангелова, во всяком случае, необычная, ибо ничего похожего Ивану Петровичу до сих пор слышать не доводилось.

Воодушевленный знакомыми нотками, Иван Петрович ободряюще кивнул Аронову и проскользнул за дверь.

Зал, открывшийся перед ним, не был мал или великий — Иван Петрович сразу понял, что в данном случае отказывают все категории сравнения. Возможно, зал следовало считать бесконечным в пространстве и во времени и даже объективно существующим вне сознания и независимо от ощущений, но Крабов не очень хорошо представлял себе, облегчит ли такая оценка его дальнейшую участь.

Вдали на великолепном троне восседало нечто нечеловечески совершенное, воспринимаемое как многомерное Сияние, притягательное и грозное, заставляющее жмуриться и испытывать нарастающие сердечные вибрации.

Неверующая душа Крабова, вернее, та информационная структура, которая должна заменить душу подлинного атеиста, слегка смущилась. Все происходящее воспринималось ею как своеобразное цирковое представление с не слишком интригующим пока подтекстом. «Уж не погружаюсь ли я в мир раздраженного Ароновского воображения? — скользнул в его душезамениtele полу вопрос-полудогадка.— Или своего, или чьего-то еще... Пересечение раздраженных воображений создает грандиозную исповедальню — это что-то новенькое, но вряд ли перспективное».

Товарищ Пряхин записал Крабова в свой знаменитый черный блокнотик, а потом кто-то юркий и очень толковый разъяснил Ивану Петровичу, что ему следует пройти к специальному столику у подножия престола Господня и принять участие в выездной сессии Страшного Суда в качестве лица отчасти посвященного.

Иван Петрович так и не уразумел, что есть отчасти посвященное лицо — наверное, вроде кандидата в смысле Фросина,— но зато перед ним, кажется, раскрылся источник его проклятого дара.

«В течение недели я служил для них простым экспериментальным буйком,— самокритично и даже с долей трагизма думал он,— на мне, вернее, с моей помощью отрабатывали приемы вытягивания чужих мыслей с тем, чтобы сегодня подвести черту и окончательно обречь кого-то на пытки, а кого-то прославить. Но зачем, зачем все это? Кому это необходимо?»

В голову Ивана Петровича потоком хлынули мысли подсудимых, или подвергаемых, как их определило Сияние. Зловонными пузырями поднимались со дна очередной заблудшей души невообразимые деяния и замыслы и лопались на поверхности мозга, обстреливая членов суда самыми странными и нередко отчаянными сигналами.

В вихрях этих сигналов пронесся перед Иваном Петровичем Аронов, которого приговорили к пожизненному редактированию «Мизера втемную» и к самоотверженной работе над темой Самокурова. Выезд в ад Михаилу Львовичу категорически запретили по режимно-моральнym соображениям.

Файну Васильевну ласково погладили по головке и отпустили с миром.

Илье Феофиловичу поставили на вид. Он пытался оправдываться, особенно насчет загашника, но Сияние

не пожелало вдаваться в подробности и тут же утвердило строгий выговор без занесения.

Потом появилась Леночка в красном берете и, увидав Крабова, дружески подмигнула ему. Как душе чистой и непорочной, ей выделили белоснежное платье средневековой принцессы и двухнедельную туристическую путевку в рай. Леночка сделала книксен и исчезла.

В душе Ивана Петровича стало нарастать какое-то глухое сопротивление. Суть действий, творимых Сиянием, начисто от него ускользала.

«Дурацкая трата времени,— думал Иван Петрович.— Во-первых, я не знаю, что такое ад или рай, никогда там не был. Во-вторых, в чем смысл назначений? Если Оно допускает существование многомыслия, за что же судить?»

Появился Ломацкий, потоптался посреди небольшой арены для подвергаемых и с неподдельным любопытством стал разглядывать Сияние и разместившуюся рядом судейскую команду.

Взгляд его, ироничный и уж, во всяком случае, беспретный, неспешно обежал почетный ряд и остановился на Крабове. Мысли, которыми он бегло и наискось успел обстрелять присутствующих, напоминали крупнокалиберную пулеметную очередь — материал, малопригодный для создания объективного портрета-характеристики.

— А вы-то здесь зачем? — удивленно и даже слегка насмешливо спросил Семен Павлович.— Вот уж не ожидал...

— Я лицо отчасти посвященное,— обиделся Крабов.— У нас тут выездная сессия!

Но Семен Павлович как бы и не обратил внимания на обиженный тон старого партнера:

— Вот уж не ожидал... Да вы и вправду возомнили насчет Страшного Суда? Глупости, Иван Петрович, право же, глупости. Оглянитесь как следует — это же мы сами и есть, и еще зеркало, которое водрузили над столом с бирочкой и неизвестно за что принимают...

И Иван Петрович стал добросовестно оглядываться... Картина, которую увидел он теперь, заставила его прстереть глаза, однако ж от этого не изменилась и продолжала поражать отсутствием мистики и даже какой-то скучноватой научностью.

Среди судей там и тут мелькали недавние подвергаемые, и не было у них ангельских крыльышек или дьявольских рогов. Наблюдалась обычная озабоченность важным делом, озаряемая иногда вспышками зависти или симпатии, на отдельных лицах сквозило прохладное безразличие — в общем, очень человеческая смесь очень человеческих проявлений. Михаил Львович Аронов, удобно расположившись за своим столом, листал роман, как

сборник чьих-то личных дел, и ставил пометки на полях. Леночка сидела, поджав ноги, и внимательно рассматривала свой византийский перстень и подписи на путевке. Илья Феофилович кокетничал с Файной Васильевной, и оба они не слишком интересовались окружающим. Были и другие знакомые и полузнакомые лица, уже подвергнутые и потому успокоенные и лишь немного любопытствующие в смысле чужих исповедей.

И вся эта отнюдь не райская сцена отражалась в огромном странно изогнутом зеркале и концентрировалась им, и отраженные в нем люди выглядели сгустками юной энергии и абсолютно правильных мыслей, истинных и, следовательно, непобедимых. И эта концентрированная непобедимость воспринималась всяkim новым подвергаемым как грозное Сияние, а собственное несоответствие идеальному отражению становилось исповедью с теми или иными последствиями.

«Все верно, мы сами себя судим, подвергаем, оцениваем,— сообразил Иван Петрович.— Но при этом пытаемся отделить в себе и особенно в других черненькое от беленького, воображаем себя сгустками каких-то абсолютных качеств, а потом удивляемся своей зависимости от внешней силы, которую сами же обожествили».

— Вот-вот,— усмехнулся Ломацкий,— именно так...

— А я думал, вы уравновесились,— разочарованно протянул Иван Петрович.

— Не вы первый, не вы последний,— ответил Семен Павлович, и во взгляде его проскользнула растерянность.— Когда-то я полагал, что найду единственную точку, ту, о которой мечтали древние китайцы, найду единственную точку и введу в нее иглу, и потом не будет в моей жизни желаний, не соответствующих моим возможностям...

Но тут Ломацкого пресекли, и Сияние выписало подвергаемому штраф за пренебрежительное отношение к выездной сессии, сопровождавшееся мыслями особой дерзости. Штраф был обиден, как щелчок по носу среди парадного ужина в модном ресторане,— Ломацкому следовало немедленно заплатить профсоюзные взносы со всех сокрытых им ранее доходов.

— И все-таки нет ни ада, ни рая,— возопил тогда вконец расстроенный Семен Павлович.— Есть жизнь, которую мы сами себе устраиваем...

Сияние немного подумало и дополнительно оштрафовало его на целый червонец — как за грубое нарушение правил уличного движения.

И тут охватила Крабова дерзкая идея нарушить ход странного собрания, вытворить нечто взрывчатое, может, и губительное для него самого, но непременно меняющее ход событий.

В зал ввели Алексея V по кличке Мурцуфл, и на присутствующих обрушились не слишком привлекательные подробности давнего государственного переворота и изничтожения последних Ангелов. Алексей V шел на откровенное покаяние, жалобно просил выпустить его по состоянию здоровья из неблагоустроенной клетки тридцатого века. Его превратили в очень симпатичного кота и с небольшим повышением перевели в чистилище.

Это решение переполнило Крабова неподдельным негодованием. Во-первых, зачем увлекаться этими загадочными терминами, которые были понятны и близки всяким там крестоносцам, но где они теперь — эти великие завоеватели? Что такое, собственно, чистилище, кто там бывал, и в чем смысл дипломатического поста, предоставленного бывшему базилевсу, который и по вере своей никакого отношения к чистилищу иметь не должен. Вопросы буквально захлестывали Ивана Петровича, но главное его возмущение крылось в ином. Он и сам считал, что кличка Мурцуфл более всего подходит солидному самостоятельному коту, но вовсе не собирался участвовать в подозрительных трансформациях мыслящего — хоть и странными категориями, но мыслящего — существа.

В конце концов,— рассуждал он,— Мурцуфл сидит в каждом из нас, и Ломацкий, и Аронов, и Леночка тоже сидят. Каждый из нас заключен в другом и ждет, когда на него обратят внимание — не накажут, не выпорют, а именно обратят внимание и даже дадут шанс стать своим. Будет худо, если одна из частей превратится в животное, а другая одновременно подвергнется наплевательскому штрафу или растворению в собственной рукописи, или станет наслаждаться даровыми туристическими впечатлениями. Зачем же разъединять нас далее произвольными преломлениями в бракованном зеркале?

И Крабов попытался применить свое свежеоткрытое дарование, воздействуя на окружающих силой собственной мысли. Для начала он скомандовал прекратить судилище. И сразу что-то испортилось в четком механизме заседания. Застряла посреди зала одинокая фигура очередного подвергаемого. Иван Петрович мог бы поклясться, что это Фросин, и был крайне обрадован, что спас старого знакомого от порции нелепиц и несправедливостей.

«Любопытно,— подумал Иван Петрович,— почему он Макар? От греческого «макариос» — счастливый, блаженный, или от санскритского «макара», то есть, чудовищевахана, на котором ездили боги? А может, это одно и то же? Может, у блаженных и у боговозцев единые индоевропейские корни?»

Знакомые и незнакомые судейские чиновники, бывшие подвергаемые, дружно повернулись к Ивану Петровичу и удивленно уставились на него. Сияние в центре зала завибрировало и немного померкло. С минуту Иван Петрович улавливал только мощный поток удивления.

Ну и ну... Во дает!.. Думает — это цирк... Замаскировался... А еще гроб Господень воевать ездил... Мурцуфлу помогал... Семеркой прикидывался... Ну и ну...

Но потом ситуация стала резко портиться.

Раскаленная до звездных температур игла прошила крабовский мозг, и вместе с ней он воспринял мысль, исходящую, скорее всего, от Сияния лично.

Ты что, на неприятности напрашивашься? Кто тебя уполномочил на такие шаги? Теперь смотри, что из этого получится...

И вдруг Крабов почувствовал страшную силу, отрывающую его от судейского стола. Не успел он глазом моргнуть, как декорации переменились — он, Иван Петрович, стоял напротив еще ярче вспыхнувшего Сияния, а Макар Викентьевич Фросин сидел на крабовском месте и с любопытством рассматривал нового подсудимого.

Иван Петрович стоял, неторопливо размышляя о своей жизни, и удивлялся ей, и понимал, что исповедь предназначена не для него самого, что не он, а другие, облеченные непостижимой для него властью, будут копаться в этой жизни, заглядывая в любые, даже самые интимные уголки, и делать выводы, делать самые решительные выводы. От такого соображения у Крабова закружилась голова. В медленном хороводе судейских столов с приклеенными к ним ухмыляющимися, добродушно или злорадно ухмыляющимися физиономиями, замелькали голубые полупрозрачные тени, в которых Иван Петрович, несмотря на охватившую его слабость, сразу же признал свои давно испарившиеся мечты.

«Забавно,— думал он,— мне казалось, они навсегда исчезли. Надо же... И в самом деле, почему я забросил свою идею квантового интеллектуального поля? Я ведь по-настоящему верил в существование чего-то, подобного звуковым кантам в металле, что вполне реально взаимодействует с людьми и, в свою очередь, делает их реальными, то есть осознающими свою человеческую природу. Может быть, вовсе не это Сияние — квант древнейшей идеи, именуемой Богом, послало мне свой проклятый дар, а просто сами кванты интеллектуального поля случайно выстроились, образуя когерентные цепочки вокруг моего мозга и тысячекратно усиливая друг друга, и стали доносить до меня чужие мысли в тщетном ожидании, что когда-нибудь возвратятся свои. Я по-настоящему верил в них и теперь верю. Почему я так легко согласился петь

не своим голосом? Почему склонился перед Филипповым? И эти голубые тени или выдуманные мною кванты, притворившиеся голубыми тенями, пришли расквитаться со мной за мое бессилие, за мою подчиненность обстоятельствам».

Но тени юношеских идей не приходят сводить счеты. Стоим ли мы их внимания! И они мирно кружились вблизи Ивана Петровича Крабова, ничем ему не досаждая, разве что немного царапая его изнутри, хотя, в сущности, они давно уже пребывали вовне. И поэтому мелкие саднившие царапины на бесформенной серой массе, называемой мозгом, а иногда — душой, вызывали у Ивана Петровича лишь смутное ощущение утрат — одной, другой, многих... Одновременно он радовался, разумеется, потихоньку, что они, некогда им покинутые, не оставили его в трудный час и теперь собираются разделить его явно незавидную участь.

«То черный свет примерещился,— думал он,— то вот эти забавные тени, которые внутри меня и снаружи,— сплошная путаница в законах природы. Даже самые тайные мечты — это нечто квантовое, и только с какой-то вероятностью они могут находиться внутри человека, они просачиваются и не признают ни абсолютных клеток, ни грязных черных платков».

Отчего пришла на ум зцепка за квантовую механику, некогда поразившую его воображение, он никому и не смог бы объяснить. Тем более, что наши мечты вряд ли похожи даже на волны вероятности — они вообще нетрактуемы современной наукой, ибо их не успел ввести туда молодой Ваня Крабов, которому вовремя и очень доходчиво рассказывали, что настоящая реальная личность вовсе не обязана сильно взаимодействовать с мировым интеллектуальным полем, а вот на работу не опаздывать — обязана. Нетрактуемы современной наукой и потому никак не могут нарушить ее непреложные законы. А потому и неподсудны...

Но здесь судили. В непробиваемой тишине судили и Ивана Петровича, и испущенные им некогда расплывчатые голубые тени. Судили молчанием.

«Меня отлучат», — решил Иван Петрович, и от этой мысли сделалось ему, как никогда, госткливо и пусто.

Зал перестал кружиться. Сияние померкло — словно поглотилось бесконечно высоким потолком. Судья и тени медленно таяли. Только Макар Викентьевич Фросин немного задержался — видимо, он совсем не спешил таять. Он сочувственно кивнул Крабову и развел руками — дескать, ничего не поделаешь, потом встал из-за стола и подошел к внезапно возникшей позади него стене.

Подошел, снял с огромного гвоздя с нелепо расквашенной шляпкой свою фуражку и исчез за зарешеченной дверью.

Зал на глазах сжимался, склонялся все быстрей и быстрей, и теням некуда было деваться — тем, что не покинули зал вслед за судьями,— они метались по оставшемуся пространству, тревожно шелестели, пытались раствориться в сгустившемся воздухе, но, видимо, безуспешно. И некоторые стали прятаться в Ивана Петровича, легко и безболезненно проникая сквозь его кожу.

Наконец, стены вплотную подступили к Крабову, слизнув песочный замок у его ног, и он понял, что сейчас сольется с этими стенами, если попросту не будет раздавлен ими.

«Может быть, это только сон?» — мелькнула в голове никчемная догадка и тут же испарилась, поскольку в зале Страшного Суда, оказавшегося вовсе не страшным и, пожалуй, не совсем судом, больше не осталось места ни для голубых теней, ни для самого Крабова, ни даже для этого крошечного кванта мысли...

18

Возможно, из-за этого апокалиптического сжатия в точку Иван Петрович встретил очередную свою субботу с легкой головной болью. На кухне буйствовал Игорек. Анна Игоревна увещевала его, по мере сил своих утихомирилась, но без особого успеха. Только взгляд на часы осветил для Ивана Петровича природу сыновьяева бунта. Было как раз 8-30, а он, благородный отец семейства и знатный ковробоец, все еще валялся в постели.

Но в ровном журчании Аннушкинского голоса ни малейших намеков на свое разгильдяйство он не уловил. Она появилась в спальном углу минут через десять, без всякого упрека взглянула на мужа и спокойно, как будто никакого беспрецедентного нарушения режима не было и в помине, сказала:

— Проснулся? Тогда пошли завтракать, а то Игорешка зверствует.

И вот что странно — ни одной обидной или похвальной мысли в адрес Ивана Петровича она не имела, похоже — мысли вообще отсутствовали, вернее не прослушивались. Иван Петрович поразился. Супруга без активной оценки окружающего мира представилась ему чем-то фантастически-инопланетным, внеземным и потому требующим немедленного объяснения. И эта потребность подтолкнула его к крупному открытию, утешительному, хотя и не слишком приятному, — видимо, он утратил свой проклятый замечательный дар, утратил безвозвратно.

«Чему удивляться? — подумал он.— Наверное, сегодня ночью я не оправдал доверия. Вот уж, действительно, оконфузился — супротив Господней воли попер. Смешно...»

Не то, чтоб ему было очень смешно, однако ситуация больно ловко окрашивалась в иронические тона и оттого становилась не столь уж мрачной и достойной сожаления.

«Да и о чем жалеть? — думал он.— Не о чем тут жалеть. Ничего хорошего из угадывания чужих мыслей не получается. Если б меньше угадывал, не пылились бы мои старые бумаги на антресолях. А может, и не пыляться, может, Аннушка давно их в макулатуру сдала, и теперь эти пропылившиеся голубые тени превратились в какой-нибудь серый томик Дюма?»

От такой мысли Иван Петрович взгрустнул. Захотелось разыскать все эти бумаги, перечитать их, понять, если это еще возможно, и продолжить, главное — продолжить.

И время складывалось удачно — два выходных, никуда не надо бежать.

«Как же не надо? — вспомнил Иван Петрович.— А к Ломацкому? И Фросин должен прийти с бутылкой «Наполеона» и рассказать о триумфальном допросе Пыпина. Хоть и злится на меня, но непременно расскажет. И Ломацкий, и Аронов, и даже Фанечка станут смотреть на меня с интересом — ай да Шерлок Холмс!..»

— Ванюша, завтракать пошли,— прервала эти приятные размышления Анна Игоревна.

«Хороший все-таки у нее характер,— одобрительно подумал Иван Петрович.— Может, и не будет сильно ругаться, если я немножко антресоли разберу. А вдруг там давно уже и нет никаких бумаг?»

Уже допивая чай, Игорек ловким ударом испортил ему настроение. Сын вспомнил про цирк — давно, видите ли, не был!

Теперь Крабову не видать арены, не видать гастролей в Париже и Монтевидео. От этого сразу стала сжиматься кухонька, и внезапно Иван Петрович осветился изнутри дикой вспышкой сожаления о своем образе действий в течение последней ночи. Испортил он себе будущее, скорее всего, не испортил, а вообще лишился такового из-за минутного всплеска непонятного протеста, который ни к чему существенному и не привел, а просто перебросил его из кресла у подножия престола в смешную исповедальную позицию, требующую теперь немедленного перетряхивания пыльных залежей на антресолях, где, вероятней всего, никаких теней и в помине нет, поскольку тени недолговечны и, подобно людям, слепнут и умирают в темноте.

ЧЕРНАЯ НЕДЕЛЯ
ИВАНА ПЕТРОВИЧА

Импульс черного света на миг ослепил Ивана Петровича, и в этом импульсе вычертился вопреки всем законам природы и общества безграницный зал так называемого Страшного Суда и его, Крабова, интеллигентно деформированная фигура в порыве немой исповеди, с которой уходит Сияние и остальные судьи, как с плохого спектакля в театре с прочными и хорошо разрекламированными традициями.

Опрокинулась чашка, и бесформенное коричневое пятно стало быстро расплываться по клеенке.

— Что с тобой, Ванечка? — услыхал он сквозь глухие надоедливые удары — в висках или за ближайшей стенной? — тревожный голос Анны Игоревны. — Лица на тебе нет. Ой-ё-ёй...

Мир постепенно восстановливал свои контуры, и в этом мире возникла рюмка с тридцатью каплями валокордина и заботливый шепот Игорька:

— Папуле головка болит, да?

Потом мир немного покачался и встал на место, совместился сам с собой, а слабое мерцание того сжижающегося зала совсем исчезло, и все приобрело исключительную контрастность.

Иван Петрович улыбнулся и накрыл своей теперь уже послушной ладонью пухлые пальчики Анны Игоревны, нервно ищущие его пульс.

По кухне растекалось по-осеннему серое субботнее утро, и все шло не так уж плохо. И надо было жить дальше.

Минск, 1981

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--------------------------------------|----|
| Фантакрим—XXI | 3 |
| Черная неделя Ивана Петровича | 79 |

Литературно-художественное издание

Александр Сергеевич ПОТУПА

**ФАНТАКРИМ—XXI.
Фантастические повести.**

Редактор Л. С. Курбеко

Оформление и художественное редактирование С. В. Баленок

Координатор выпуска Д. В. Крымов

ИБ № 248

Сдано в набор 03.05.89 Подписано в печать 14 06.89. Л 17203. Формат 60×90/16. Бумага офс. № 1. Гарнитура тип «Таймс». Печать офс. Усл. печ. л. 10,0. Усл. кр.-отт. 20,0. Уч.-изд. л. 9,6. Тираж 200 000 экз. (2-й завод — 50 000 экз.) Заказ 497. Цена 2 руб. 80 коп.

Литературно-издательское агентство «Эхо» Всероссийского фонда культуры. 630043, Новосибирск, Вокзальная магистраль, 1.

Набрано и отпечатано в типографии им. Ф. Скорины издательства «Навука і тэхніка». 220600. Минск, Жодинская, 18.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

**ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОМЕТЕЙ» МГПИ
им. В. И. ЛЕНИНА ПРЕДЛАГАЕТ ВАШЕМУ
ВНИМАНИЮ КНИГИ, ВЫПУСКАЕМЫЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВОМ В 1989 ГОДУ:**

- Т. Зуева «Волшебная сказка»
В. Зимина «Под тенью черного орла»
Л. Микешина «Ценностные предпосылки в структуре научного познания»
И. Волкова «Новый период истории России в трудах С. М. Соловьева»
А. Горский «Древнерусская дружина»
А. Иванов «Высшая школа России конца XIX — начала XX века»
В. Комин «Анархизм в России»
Л. Пушкирев «Духовный мир русского крестьянства по пословицам XVII—XVIII веков»
И. Прыжов «Декабристы на Петровском заводе»
В. Черный «В памяти России» (о борьбе русского народа против монгольского ига и Куликовской битве)
А. Колганова «Во след чужому гению» (о произведениях литературы, созданных как переделки или продолжения прославленных творений классики)
В. Шестаков «Современная утопия и утопический роман»
А. Василенко «Загадки русской промышленности» (о малоизвестных моментах истории русской промышленности и кустарных промыслах)
Т. Савченко «Сергей Есенин и его окружение»
И. Шайтанов «Мыслящая муз» (о поэтическом открытии природы поэтами А. Поуп, Э. Юнг и русских поэтов от М. Ломоносова до Н. Карамзина)
Альманах «Лазурь» (повести О. Форш «Сумашедший корабль», А. Корнеева «После юбилея. О Николае Грече», дневник М. Башкирцевой и ее переписка с Ги де Мопассаном, Э. Гонкуром, сказки А. Ремизова)
Зарубежная литература XVII—XVIII веков. (Англия, Франция, Германия, Италия). Под ред. В. Пуришева
Стихи А. Ахматовой, И. Северянина, М. Волошина, В. Высоцкого, М. Цветаевой «Мой Пушкин» (б-ка журнала «Полиграфия»)

*Книги можно приобрести в издательстве «Прометей»
(ул. Усачева, 64, комната 112), либо заказать, прислав
открытку по адресу: 119048, Москва, ул. Усачева, 64,
издательство «Прометей», отдел реализации («Слово»)*

*Заказанные книги высыпаются наложенным платежом
после их выхода в свет.*

Телефон для справок: 245-58-48. Отдел реализации.

ЖДЕМ ВАШИХ ЗАКАЗОВ!

2 p. 80k.

